

**И.А. Ильин**  
**О монархии и республике**  
**(О монархии исследование)**

По изданию: И. А. Ильин. «О монархии и республике». Собрание сочинений в 10 томах. Изд. «Русская книга». Москва, 1994.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Проблема и ее затруднения

**Часть I**

Глава первая. Формальные черты монархии

Глава вторая. Проблема монархического правосознания

**Часть II**

Глава третья. Основные предпочтения - 1

Глава четвертая. Основные предпочтения - 2

Глава пятая. Основные предпочтения - 3

Глава шестая. Основные предпочтения - 4

Глава седьмая. Основные предпочтения - 5

**Из лекций "Понятия монархии и республики"**

Основные задания монарха

Внутреннее делание монарха и его качества

Опасности монархии

**Введение.**

**ПРОБЛЕМА И ЕЕ ЗАТРУДНЕНИЯ**

1

Приступая к изложению моих изысканий о монархии и выводов, к которым я пришел, я хотел бы отметить прежде всего те затруднения, с которыми мне приходилось бороться. Задача установить сущность монархического строя в отличие от республиканского есть задача весьма трудная.

Она трудна, во-первых, потому, что монархическая форма правления, - "персональное единовластие", - есть форма весьма древняя. Она стара, как начало здоровой "моно-андрической" семьи (с единым супругом и отцом), как начало отеческой власти и единого рода; она стара, как человеческое общество. И поэтому исторический материал моего исследования совершенно необозрим и неисчерпаем; на подробное обследование его потребовалось бы несколько человеческих жизней.

Эта задача трудна, во-вторых, потому, что разрешение ее встречается с одной из сложнейших проблем науки права, именно с проблемой методологической; для того чтобы разобраться в ней, нужна серьезная философская подготовка, и справедливость требует признать, что многие из опытных и даже признанных ученых-юристов не разбираются в ней надлежащим образом.

Эта задача трудна, в-третьих, потому, что сущность монархии, как и сама сущность права, - имеет природу сверх-юридическую. Это означает, что для разрешения вопроса об отличии монархии от республики необходимо, не выходя из пределов науки, выйти за пределы юриспруденции. Надо, не порывая с научным материалом государственных законов, политических явлений и исторических фактов, проникнуть в их философский, религиозный, нравственный и художественный смысл и постигнуть их как состояния человеческой души и человеческого духа.

Наконец, в-четвертых, эта задача трудна потому, что ныне монархический строй и самая идея монархии вовлечены в тот общий мировой кризис который разразился на наших глазах в двадцатом веке с небывалой еще в истории бурностью и остротой. Люди

утрачивают духовное измерение вещей и жизни; они как бы слепнут для духовной субстанции бытия и судят обо всем по своему собственному интересу, по навязанному им трафарету или же по внешней видимости. И вот монархическое начало, стоящее по природе своей в скрещении государственности, религии и нравственности, не могло не быть захвачено общим духовным кризисом. Духовно ослепшие люди начинают слепо ненавидеть и слепо преклоняться; их сила суждения, и без того небольшая, слабеет и разлагается окончательно; в партийном пристрастии они извращают все постановки вопроса, критикуют вкривь и возвеличивают вкось; забывают, в чем цель человеческой жизни и какие средства и пути ведут к ней; доверяются сходно болтающим обманщикам и берут под подозрение всех, кто не произносит принятых ими слов и догм. В такую эпоху образ исследуемого нами предмета как бы заболевает в душах, потому что он оказывается в самом фокусе скопившихся и не разряжающихся страстей - ненависти, зависти, честолюбия и партийного властолюбия. И говорить о сущности монархии становится задачей и трудной, и неблагодарной.

Таким партийным "страстотерпцам" (ибо они жестоко терпят от своих собственных страстей) - мне нечего сказать. Я, как человек, гражданин и исследователь - непартиен, никогда ни к какой партии не принадлежал и принадлежать не буду. Я вижу не только духовные преимущества монархии, но и ее своеобразные трудности и опасности; и не считаю возможным что-нибудь замалчивать или идеализировать. Однако я вижу и все опасности республики, а также и положительные основы республиканского образа мыслей, пытающегося высказать некоторые основные аксиомы здорового правосознания, которые в истории нередко забываются монархистами. Всё это необходимо установить и формулировать с полной объективностью и беспристрастием, к чему нам и надлежит приступить.

2

До этого необходимо, однако, разъяснить методологические затруднения, с которыми нам пришлось считаться.

Дело в том, что юрист должен исследовать два совершенно различных предмета: закон как правило (норму), как отвлеченное предписание; и жизненное явление, то предусмотренное, то непредусмотренное этим правилом. Закон есть мысль о юридически верном и правильном; эта мысль выражена в словах; слова записаны или напечатаны на бумаге; в мыслях и словах выражено правило внешнего, общественного поведения; а в этом правиле указано - каким людям (обозначенным общими родовыми признаками) какие именно внешние поступки предписываются, дозволяются или воспрещаются ("должно", "можно" и "нельзя"). Например, здоровый мужчина 21 года обязан отбыть воинскую повинность; граждански полноправный человек может покупать вещи и продавать их; измена родине наказуема и т. д. Смысл закона всегда приблизительно таков: "в случае, если окажется человек с такими-то состояниями, свойствами или поступками, то надлежит признать за ним такие-то полномочия, обязанности и запреты". Если... - то... А что такой человек в действительности есть, фактически "имеется", - и кто он, и где он, и когда он, и как его зовут, - об этом в законе обыкновенно ничего не говорится, и это "если" может никогда и не осуществиться...

С другой стороны, жизненное явление, исторический факт - возникает, развивается и составляет, не на основании правового закона, не в силу правовой нормы, а в силу "естественных причин"; иными словами, это происходит по "законам" дурной или благой человеческой или вещественной природы (греческие мыслители выражали это термином *phusei*), а не по нормам правовым или государственным (*thèsei*). Нормы "распоряжаются"; стараются предусмотреть возможное и урегулировать его, снабдить могущее наступить явление (например, состояние сумасшествия, свойство - мужской пол, поступок - удар, подпись, волеизъявление или событие природы - действие огня, воды, бури и т. д.) определенными юридическими последствиями. А события, "не спросясь у норм", возникают, развиваются, длятся и кончаются по законам "причинной

необходимости", независимо от того, были они предусмотрены правовыми нормами и "уловлены" ими с их "юридическими последствиями" или нет.

Итак, правовые нормы имеют юридическое значение, независимо от потока явлений или от фактов; а поток явлений и фактов слагается и несется, образуя живую жизнь, независимо от правовых законов. Есть состояния и деяния, предусмотренные законом, например, вот эта кража, эта покупка земельного участка, это заседание парламента, это монаршее повеление. Но есть состояния и деяния, непредусмотренные законом, например, обратная кража чужой украденной вещи, у самого вора, для возвращения ее собственнику; или кража помещиком своей собственной курицы у захвативших его имение коммунистов; или собрание депутатов в зале Jeu-de-raime<<\*1>> во время французской революции, а также выборгское заседание распущенной первой Государственной Думы (1906); или отречение императора от престола, непредусмотренное русскими основными законами... Далее, есть много деяний и явлений, предусмотренных законами и подпавших юридической квалификации (например, убийца был разыскан, судим и наказан); но есть много явлений и деяний, хотя и предусмотренных законом, но не подпавших под юридическую квалификацию; или еще не подпавших, например, убийца еще не обнаружен и давность еще не истекла, или уже не подпавших, например, убийца умер и унес тайну своего преступления в могилу...

Замечательно, что именно в суде и в политике непредусмотренный поступок иногда не только получает правовое значение, но становится примером, образцом для целого ряда других таких же поступков, получающих в силу этого правовое значение. Возникает особая "вне-законодательная правомерность", которая утверждает себя сначала как "наилучшую возможность", потом признается всеми за полномочное право и наконец, может быть, даже начинает противоречить закону, отодвигая его или постепенно лишая его прежней полномочности. История государственных учреждений знает множество случаев, когда политический обычай отодвигал или обессиливал публично-правовой закон. Таков, например, весь английский парламентарный строй. То, что ни в каком законе не установлено, соблюдается всеми как обязательное настолько, что оно оказывается в жизни прочнее, чем многое установленное в законе. Оказывается, что права английского короля по закону и его права в порядке политически ведущегося строя - различны. Три главные принципа английского парламентаризма, ограничивающие права короля, - вне-законны, но считаются государственно связующими и обязательными: 1. король обязан утвердить законопроект, принятый обеими палатами; 2. король обязан удалить министров, потерявших "доверие" нижней палаты, и назначить новый кабинет, главою коего будет один из вождей оппозиционной партии; 3. повеления короля должны быть контрассигнованы премьер-министром. Между тем по строгому смыслу английских законов король имеет право не созывать нижнюю палату, уволить всех чиновников, распустить армию, объявить войну, унижить страну позорным миром и т. д. (См. об этом у Дайси, Беджгота, Сиденя Лоу, Ансона, Ресселя; особенно формулы лорда Брума и Гладстона.) Оказывается, что юридически установленное может быть политически неосуществимым, ибо не найдется министра, представляющего большинство в палате общин, который согласился бы контрассигнировать такие указы.

3

Немалые затруднения возникают также из того обстоятельства, что бывают законы, утвержденные в данной стране, но не нашедшие себе политического применения. Такова, например, неосуществившаяся конституция Кромвеля от 1657 года; такова же знаменитая французская революционная конституция от 1791 года, изучаемая во всех учебниках и ученых трактатах, но никогда не применявшаяся в действительности... Она вводила своеобразную ответственность короля (утрата трона) за известные его поступки и деяния. К разряду таких явлений относятся и те "условия", которые были поставлены Анне Иоанновне Верховным Тайным Советом в 1730 году. Их текст заканчивался словами: "А буде чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны

российской". Известно, что Анна подписала в Митаве эти условия, ограничивающие права монарха в России; они получили значение конституционного акта, но затем в Москве были ею же отменены через несколько дней: то была "конституция" утвержденная, но не введенная, не давшая государству своей жизненной формы...

Оказывается, что конституционные нормы определяют иногда права монарха совсем иначе, чем они осуществляются в политической жизни. "Иметь право" - не значит фактически быть в состоянии сделать что-нибудь. Монарх по закону "может" многое, чего он не может в действительности; и наоборот. Это означает, что методологически следует изучать законы и их состав - отдельно и сначала; это создаст так называемую "догму права", в силу которой отличие монархии от республики будет одно. А потом надо изучать отдельно политический состав исторических фактов; это даст политическую историю, историю государственных учреждений; и тогда быстро окажется, что отличие монархии от республики будет совсем другое. Ясность и строгость ученой мысли будут осуществлены, но единый критерий отличия будет утрачен.

К этому необходимо добавить, что писанные конституции, отчетливо трактующие права монарха, суть явление сравнительно позднего времени. В Средние века государственный строй слагается и держится гораздо более религиозной санкцией, политическим импониowaniem, традицией, естественностью сана, обычным правом. Это испытывается не как противозаконие, а как законность незаписанного обычая. Вследствие этого оказывается невозможным определить, где имеется простой факт (например, раздел империи Карла Великого), и где факт, начинающий собою образование "прецедента"; и где устойчивый прецедент, где случайная натяжка в ссылке на обычное право, и где действительно сложившийся и обязательный для всех политический обычай. На исследователя сыплется поток фактов, проблематических в их юридическом значении, и он не знает, регистрировать их или пройти мимо этого бытового злоупотребления, и если регистрировать, то - как определение закона или как правовой факт?

Затруднения становятся величайшими, если привлечь историю Китая, Индии, монголов, южноамериканских государств, древней эпохи и нового времени, историю Византии, древней Греции, языческого Рима и Возрождения (эпоха тиранов)... Различие между законом, политическим обычаем и голым фактом силы или власти - становится совершенно неуловимым. Например, римские императоры - не то монархи, не то тираны, не то "избранники", не то узурпаторы - нисколько не являются президентами республики; они сменяют друг друга - не то назначаемые, не то наследующие, не то провозглашаемые армией, не то всходящие на престол в порядке завоевания (или своей страны, или чужой); и исследователь не может установить, что перед ним - публичное право, политическое событие, катастрофа, революция или развязка гражданской войны, правило или исключение, здоровое исключение или болезненное, случай или сущее безобразие...

Словом, исследователь, пытающийся научно отличить монархический строй от республиканского, монархию от республики, монарха от президента, - или прибегнет к умолчаниям, к произвольному выбору материала и выдвинет спорный или несостоятельный критерий, или же прямо признает, что ему не удастся найти такое отличие, что оно условно, искусственно, что его нет. Ибо ученый не может удовлетвориться наблюдательным, но наивным замечанием одной маленькой девочки, которая уверенно отличала государя от президента по одежде: государь всегда в военном, а президент в штатском...

Таковы те великие затруднения, о которых я должен предупредить читателя с самого начала.

## ЧАСТЬ I

### Глава первая

#### ФОРМАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ МОНАРХИИ

1

Современная юриспруденция, в своем школьном трафарете, пытается отличить монархию от республики по правовому положению верховного государственного органа. Обычно считается, что верховный орган государства есть тот, который имеет право принимать решающее участие в законодательстве и в управлении, а до известной степени и в организации правосудия. И в монархии, и в республике этот орган является единоличным: единственная персона монарха и единственная персона президента. И вот, если права этой персоны наследственны, длятся бессрочно или пожизненно и сама сия персона не подлежит за свои действия ни ответственности, ни санкции, то сие есть монарх, а строй, возглавляемый им, есть монархический. Если же права этой персоны приобретаются на основании избрания, если они ограничены определенным, заранее установленным сроком и сама сия персона за свои действия формально ответственна, то перед нами президент и республика.

При сопоставлении этого определения с политическим материалом человеческой истории придется признать, что признаки эти отличаются устойчивостью только тогда, если мы условно и искусственно выделим писанные конституционные законы девятнадцатого века, если мы отвлечемся от всех жизненных и политических осложнений того же времени и пренебрежем всей остальной историей. Любопытно, что партийные политики оставляют это обстоятельство без внимания и тем обеспечивают себе тот ограниченный кругозор и ту политическую страстность, которые столь вредны для дела. Люди уже не видят ни богатства переходных форм, которыми изобилует история, ни принципиальную невозможность навязывать всем странам один и тот же государственно-политический трафарет как якобы "наилучший", ни тех глубоких духовно-реальных свойств, которые отличают монархический строй от республиканского. И вот, партийное ослепление и партийная страсть превращают легкомыслие в ожесточенность и гонят ожесточенность в объятия легкомыслия.

В противовес этому надо признать, что при тщательном историческом изучении отличие монархии от республики растворяется в целом множестве неуловимых переходов и нахождение единого и определенного формального критерия представляется неосуществимым.

2

Так, прежде всего единоличность верховного государственного органа не подтверждается ни в республиках, ни в монархиях.

В республиках во главе государства стояло нередко не одно лицо, а два лица или целая коллегия. Известно, что в республиканском Риме государство возглавлялось не одним консулом, а двумя. Консулы же эти, говоря словами Цицерона, "были облечены царской властью (*regii imperii*)". Только коллегиальностью и срочностью своей царской власти, замечает В. И. Герье<<1>>, отличались они от царей. Это полномочие, бесконтрольное в пределах известного срока или, позднее, известного круга действий, оставалось отличительной чертой римской магистратуры в течение многих веков. Когда затем интересы народа потребовали дальнейшего ограничения консульской власти, то власть их была подвержена этим ограничениям только дома, в самом городе или внутри известной черты, около городских стен; когда же консулы выходили из этого круга на войну, они опять пользовались царским полномочием над гражданами (*imperium*<<2>>). Римские консулы являлись как бы двумя республиканскими полунцарями, из коих ни один не был царем и оба были срочными республиканскими чиновниками. История знает немало республик, во главе которых стоял не единоличный президент, а коллегиальный орган: и в древней Греции, и в Италии эпохи Возрождения. Вот "директория" французской революции. Вот русская семибоярщина в Смутное время.

Вот современная Швейцария, во главе которой стоит Союзный Совет (Bundesrat); председатель же этого органа является лишь срочным возглавителем Совета, а не президентом республики (по Иеллинеку - не "Staatshaupt" <<\*3>>, а лишь "Spitze des Staates" <<\*4>>). Гастон Буасье пишет об Октавиане Августе: "Если верить одной внешности, то можно было бы подумать, что властелином был в то время Сенат, а государь только исполнял его декреты. В этом именно Август и хотел всех уверить" <<2>>.

Итак, единоличие верховного органа не характерно для республики.

Но оно не решает и вопроса о монархии, ибо история знает множество случаев, когда в одной стране, в одно и то же время был не один монарх, а два и более.

Иногда это наличие двух или нескольких царей или императоров имело характер болезненный или катастрофический; это было не явление порядка, а явление дезорганизации. Например, в конце II века, при Галлиене, перед лицом напирających варваров провинции сами стали избирать себе императоров, думая защищаться самостоятельно; было тридцать императоров в одно время <<3>>. Тацит рассказывает, что в эпоху римской империи все были против унаследования престола по крови. Диоклетиан предложил, чтобы два наличных Августа усыновляли себе двух цезарей, но из этого ничего не вышло. Однако через несколько лет появилось шесть или семь императоров, которые настаивали каждый на своем полноправии и боролись друг с другом до тех пор, пока в живых остался один <<4>>.

Но двоецарствие и многоцарствие мы видим и в нормальном порядке. В Спарте было нормально два царя, но аристократия держала их в приниженности, и они были только простыми членами сената. Именно поэтому они искали себе опоры у народа и хотели возвыситься через освобождение гелотов. Далее, еще римские императоры ввели "соправление" преемников престола: наследники имели полномочия царей. В Византии в XI веке Роман Диоген, женившись на регентше, Евдокии Макремболитиссе, дал письменное обязательство признавать своими соправителями всех трех сыновей Константина Дуки - Михаила, Андроника и Константина. В официальных документах ставились подписи четырех царей <<5>>. Вообще, в Византии наследники, даже малолетние, именовались (по римской традиции "соправления") - царями; царей могло быть сразу два и три <<6>>.

Историки подчеркивают, что частые деления царства при династии Меровингов (V и VI века) касались не царской власти, которая оставалась единой, а управляемых территорий. Каждый из участвующих в разделе царствовал по праву над всеми франками и другими народами, но заведовал какой-нибудь одной провинцией. Каждый из нескольких королей был подлинный "rex francorum" <<\*5>>; единственным царем он становился только в случае консолидации, но годом его воцарения считался тогда не год его единственного царствования, а год его "множественного" восшествия на престол <<7>>. В то время различали - "назначенных" царей (rex designatus) и "освященных" царей (rex consecratus, sublimatus); последние имели более полные права; по отношению к правящему королю освященный король назывался "junior" (младший) и считался "roi associé" <<\*6>>; мало того, он составлял с ним вместе "единого суверена в двух лицах" <<8>>. При династии Каролингов наследник тоже называется roi associé или по-латыни consors; например, при старшем брате (sub seniore fratre), который имеет "majorem potestatem" <<\*7>>, младший все же пользуется "regali potestate" <<\*8>> <<9>>. Королевская власть едина, а королей несколько. То же мы видим и при короле Гуго Капете, который через несколько месяцев после своего коронавания назначил королем и торжественно короновал своего сына Роберта, который стал "consors regni" <<\*9>>, "co-souverain" <<\*10>> <<10>>. Один министр Людовика XVIII говорил наследнику, графу д'Артуа: "Трон не диван, но кресло, где есть место только для одного лица". В X и в XI веке было иначе: два порядка лиц принимали здесь участие, хотя и в различной степени - семья короля и княжение пэры <<11>>.

История России также знает двух равноправных царей: Иоанна Алексеевича (Иоанн V, от Милославской) и Петра Алексеевича (Петра I, Великий, от Нарышкиной); они имели общий, единый, двухместный трон и общие официальные приемы, при регентстве сестры их Софии.

Таким образом, нельзя признать единоличность верховного государственного органа как присущую всем республикам и всем монархиям.

3

Далее, напрасно было бы думать, что монарх вступает на престол всегда по праву наследия, а президент всегда избирается. История знает многое множество избранных государей и все время сообщает нам о монархах, вступивших на престол не по наследству и не по избранию.

В первоначальный период гражданской общины, повествует великий знаток ее Фюстель де Куланж, "жречество было наследственно, а вместе с ним и власть". "Впоследствии... настало время, когда наследственность перестала считаться за правило..." "В Риме же царская власть никогда не была наследственной, а это произошло оттого, что Рим сравнительно недавнего происхождения и основание его совпадает со временем упадка значения царской власти повсюду" <<12>>.

Когда в 222 году до Р. Х. македонцы реставрировали в Спарте аристократию, свергнув Клеомена, то сделалась смута, затем посадили царя, выбрав его из царского рода, чего до тех пор никогда не бывало в Спарте. Этот царь, по имени Ликург, "два раза свергался с трона; в первый раз - народом за то, что он отказывал в разделе земель, а во второй раз - аристократией по подозрению, что он желает устроить этот раздел" <<13>>.

В VII веке в чешские короли был избран Само, которому удалось отразить аваров и франков и положить прочное начало чешскому королевству (627 г.).

В течение VII и VIII веков, когда происходило амальгамирование пришлых германцев с коренным населением Европы, установилась вместо прежней избирательной системы наследственная королевская власть в одном роде по прямой линии, причем подтверждение власти короля народным собранием сделалось простой формальностью. В средневековой Европе "даже в эпоху Меровингов, когда королевская власть в самом деле стала наследственной, выборы сохранились по крайней мере в виде восклицаний народа или магнатов и в виде поднятия на щит". Эта избирательная традиция признавалась и самими королями: "глас народа" (*vox populi*) считался "гласом Божиим" (*vox Dei*), и святой Abbon de Fleury (ум. в 1004 г.) в своих канонах провозглашает такое избрание прямым источником власти: трое избираются - король (или император), папа и аббат, причем первое избрание "*facit concordia totius regni*" <<\*11>> <<14>>.

"Строго говоря, ни при Каролингах, ни при первых Капетингах не было права наследования даже у ближайших членов королевской семьи". Короли должны были быть избраны, предпочтены, но именно из этой династии (разве только, если эта династия не имела ни одного "достойного или способного править"); и лишь постепенно, в порядке обычного права из этого возникло "право наследования" <<15>>. При первых Капетингах король совещался о наследнике с магнатами, потом совершал свой выбор (*le choix*), а за ним следовало назначение (*designatio*) при содействии тех же магнатов <<16>>. Народ же, люди "меньшие" (*mineurs*), низшие вассалы и простые подданные ограничивались тем, что "восклицали" или "аттестовали" на торжестве коронации <<17>>. Впоследствии Наполеон Бонапарт говаривал в государственном совете: "*Je n'ai point usurpé la couronne, je l'ai relevée dans le ruisseau; le peuple l'a mise sur ma tête; qu'on respecte ses actes!*" <<\*12>> <<18>>

Замечательно, что после последнего немецкого Каролинга (Людовик-Дитя, начало X века) в Германии установился избирательный порядок престолонаследия, что повело, конечно, к усилению феодалов и к ослаблению королевской власти (избрание слабого герцога франконского Конрада I). В XIII веке, после Гогенштауфенов, во время междуцарствия (1254-1273), в эпоху полного самоуправления (*Faustrecht*) князя нарочно

стали избирать "императоров" из чужеземных принцев и государей, например, Альфонса X Кастильского или Ричарда Корнваллийского, которые носили заочно титул, а в Германии не жили. Потом - выбрали "для слабости" Рудольфа Габсбургского (1273), показавшего неожиданно силу и власть; за ним - Адольфа Нассауского и сына его Альбрехта I, которые тоже разочаровали интригующих избирателей своей политикой.

Не забудем, что две великие средневековые монархии, Империя и Папство, вообще были избирательными.

В XIII веке в Кастилии и Арагонии господствовала избирательная система; престол замещался по выбору, что вело к частым смутам и к неудачам в борьбе с маврами.

В XIV веке историки отмечают ослабление императорской власти в Германии: нарочно выбирают слабых императоров, меняют династии. Правом избирать пользуются семь князей-курфюрстов: архиепископы Майнца, Кельна, Трира, король Богемский, маркграф Бранденбургский, герцог Саксен-Виттенбергский и пфальцграф Рейнский. Так гласила Золотая Булла Карла IV (1356), согласно которой курфюрсты получили право верховного суда, право монеты, право наследственной и неотъемлемой собственности на свои владения. Германия раздробляется, империя и император начинают превращаться в фикцию. Тот же XIV век показывает нам ослабление королевской власти во Франции (феодалы!) и в Англии (парламент!).

В Византии монархия теоретически и практически считалась выборной, а не наследственной. Право на престол имел всякий свободный человек. Предполагалось, что царь избирается сенатом и народом; но сенат превратился в пустой звук, народ же не имел никакой организации. Закона о престолонаследии и быть не могло. Заговорщик, которому удавалось заручиться содействием войска и завладеть дворцом - признавался сановниками, и бывший мятежник оказывался царем<<19>>. Так, Юстиниан Великий (527-565)<<\*13>> был избран византийским императором гвардией из начальников царских телохранителей.

В Польше со второй половины XIV века и весь XV век шел процесс усиления аристократии и дворянства (шляхты). По превращении династии Пястов водворился избирательный порядок престолонаследия. Владиславу III Ягеллону и Казимиру IV Ягеллону прямо ставились условия - утверждение привилегий; а указы и законы короля получали силу только с согласия дворянства.

Россия знала различные порядки приобретения престола: избрание князя на вече, завоевание княжества силою<<20>>, захват княжества посредством убийства соперника, наследование удела, покупку удела, назначение ханским ярлыком. Позднее императрицы Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина Алексеевна - были не то "избраны", не то "провозглашены", не то возведены на трон дворцовым переворотом. Строгий порядок престолонаследия водворился в России, как известно, только после Павла I.

Подведем итоги. История знает помимо наследственных монархов - избиравшихся государей (то народом, то знатью, то другими государями). Она знает царей возводившихся на престол национальной армией или ее отдельными легионами (римские цезари после Августа, византийские цари), а также наемной армией из чужестранцев (например, в последние 20 лет западной римской империи с 455 до 476 года, когда германский предводитель свевов Рицимер возвел в императоры и низложил восемь человек, а его преемник Орест возвел на престол своего сына Ромула Августа, именем коего он и правил). Мы видим, как князья покупают себе титулы у императоров (XIV век) и как императоры Карл V и Франциск I подкупают на выборах князей и герцогов. Юлий Цезарь подкупал всех, кто был готов продать себя; и однажды в Лукке в его приемной было насчитано таких продажных - 200 сенаторов и 120 ликторов<<21>>. Мы видим в Афинах царей, назначавшихся по жребию; и видим через всю историю государей, захватывавших царскую власть силою оружия (эпоха Возрождения в Италии, Дмитрий Самозванец, Наполеон I, Наполеон III и множество других). Мы видим и государей, назначенных чужеземным завоевателем (например, ханские "ярлыки" в России). Бывали в

истории и такие явления, когда государь приобретал трон в порядке брака или персональной унии. Так, в 1397 году единственная дочь датского короля Вольдемара III Маргарита, жена норвежского короля Гакона VII, имевшего права и на шведский престол, - соединила на себе три короны. Сейм в Кальмаре установил договор (унию), согласно которой Швеция, Норвегия и Дания соединились навеки под державою датских королей. Уния эта просуществовала весь XV век с немногими перерывами...

Итак, порядок наследования по закону и по родству не является устойчивым признаком монархии. Наряду с этим голландские резиденты были наследственны и пожизненны, но не были монархами.

4

Верховенство царской власти также не является ее постоянным признаком.

Правда, в современной теории можно найти такое утверждение, что монарх есть лицо, которое принимает решающее участие в осуществлении верховной в государстве законодательной и правительственной власти; монархическое государство не может иметь ни в области законодательства, ни в области управления легальной воли, которая не была бы в то же время легальной волею монарха. Но если мы обозрим историко-политический материал законов и событий, то мы увидим, что история изобилует царями, королями и императорами - зависимыми, ограниченными, политически бессильными, юридически подчиненными, завоеванными, покоренными, приравненными к государственным чиновникам или управителям.

Так, еще в древней гражданской общине "главы родов... каждый порознь - оставался полным владыкой своего рода, где он как бы царствовал" <<22>>. Царь не был единственным царем, каждый pater <<\*14>> был таким же царем в своем роде (gens). В Риме был даже обычай называть каждого из могущественных патронов - "царем". В Фивах у всякой фратрии и трибы имелся свой особый глава и наравне с царем гражданской общины были цари отдельных триб (philobasileis) <<23>>. В спартанском же сенате, где заседало 28 человек по выбору из высшего класса "равных" - "цари были только простыми членами" <<24>>.

Когда Рим посылал своего представителя управлять определенной провинцией, то он вручал посланнику "imperium"; "это значит, что он отступался в его пользу на определенное время от своей верховной власти на эту страну. С этой поры гражданин этот совмещал в своем лице все права республики и в силу этого являлся полным властелином" - и в законодательстве, и в управлении, и в суде. Это были чиновники-монархи в пределах республиканского Рима, монархи абсолютные, но только впрямь до отозвания <<25>>.

История знает наряду с этим и такие сложные явления. Когда Одоакр, вождь герулов и ругов, свергнул с престола западной римской империи малолетнего императора Ромула Августа (начало средних веков), то он отослал знаки императорской власти императору восточной римской империи Зенону, а сам управлял Италией совершенно самостоятельно в качестве "патриция" или "наместника", принимая еще титул "короля Италии" или "короля герулов и ругов", сохраняя сенат и консулов. Был ли он суверенным монархом?

Последние Меровингские короли, раздав баронам свои домены в жалование, теснимые "палатными мэрами" или "майордомами", сохраняют лишь номинальную власть и все владения их сводятся к одной вилле; в короле читается только освященный титул и древнее происхождение; он появляется раз в год на "мартовских полях" (законодательное и судебное народное собрание), где принимает подарки и раздает бенефиции по указанию майордомов. Так идут дела до воздвижения майордома Пепина Геристальского (687 г.), от коего в VIII веке начинается династия Каролингов.

Подобная же участь постигла впоследствии и выродившуюся династию Каролингов. "Les ducs, comtes et dynastes paraissent plus que les égaux des rois, ils sont leurs maîtres" <<\*15>>. В 881 году Хинкмар говорил Людовику III и Карломану в глаза: "vous

régnez de nom plutôt que d'effective puissance" ("ut nomine potius quam virtute regnetis" <<\*16>> <<26>>).

В начале IX века в Англии началось объединение семи англосаксонских королевств. В 827 году Эгберту, королю Вессекса, удалось подчинить себе все остальные королевства. Все эти второстепенные короли признавали над собою верховную власть короля Вессекса, как своего верховного сюзерена. Это объединение завершилось при Альфреде Великом (871-901).

Во Франции в IV веке главы разных народов - Аттуариев, Брюктеров, Шамавов, Амписвариев, Каттов - были подчиненными королями: "des rois en sousordre, subreguli, regales, principes"; глава же Салийцев был верховным королем, настоящим "rex Francorum". Он выбирался из колена Меровингов; отсюда и пошло объединение Франции под Меровингами и Каролингами, которые стали приписывать себе "un pouvoir surnaturel ou mystique" <<\*17>> <<27>>.

История отмечает целый ряд случаев, когда папы для водворения в какой-нибудь стране католичества отлучали короля или весь его народ от Церкви и тем содействовали завоеванию страны и низложению короля. Так было с избранным и популярным королем Гаральдом при вторжении герцога нормандского Вильгельма Завоевателя (1066 г., битва при Гастингсе), который в дальнейшем платил Риму дань, не принося ленную присягу. Так, папа Иннокентий III (1198-1216) проклял английского короля Иоанна Безземельного, который был вынужден признать себя вассалом папы и платить ему ежегодную дань. Так, папа Григорий VII отлучил германского императора Генриха IV (1056-1106), которому пришлось ехать в Каноссу и униженно просить прощения, с тем чтобы получить от папы "прощение", но не корону, которую ему пришлось завоевывать себе самостоятельно в борьбе с феодалами и посредством низложения Григория VII.

О каком "верховенстве" монарха можно говорить, если он с каждым из более могущественных сеньоров должен отдельно уговариваться о количестве подати, налагаемой на его территорию? <<28>>

Графы и маркграфы эпохи Карла Великого, "наместники" его, имеющие военную, гражданскую и судебную власть и контролируемые через "зендграфов" (missi dominici <<\*18>>) - являются несuverенными монархами.

Вторжение короля германского Оттона I Великого в Италию (962 г.), его расправа с Бернгаром Иврийским и его коронование в Риме императорскою короною поставили всех феодалов Италии в положение несuverенных монархов.

В таком же положении оказались все "короли" Англии под властью верховного короля Эдуарда Старшего (924 год).

Во Франкском королевстве X и XI веков королевская власть была ограничена и подвержена контролю: это была "интервенция" вассалов, необходимая для всех важных актов королевской власти <<29>>.

В XIII веке в испанской Кастилии гранды считали себя равными королю и покрывали свои головы в его присутствии; а городским кортесам (думам) короли присягали в соблюдении всех народных прав и привилегий, нарушение коих освобождало народ от его присяги королю. Эти кортесы имели даже право veto и право вооруженного восстания.

В XIII же веке во Франции Капетингам пришлось вести настоящую борьбу с феодалами за свой королевский суверенитет - при помощи парижского парламента (с его легистами) в качестве верховного королевского судилища (Филипп II Август, Людовик IX Святой, Филипп Красивый).

Людовик XI (1461-1483) восстанавливал суверенитет французского трона мерами гораздо более прямыми и жестокими.

Нельзя исчислить все исторические примеры. Вспомним только еще положение русских князей под игом татар (около 250 лет), приведем указание Тэна на то, что Наполеон I господствовал над тридцатью государствами Европы <<30>>, и признаем, что

монарх может не иметь верховной власти в своей стране. Признаем еще, что права президента в Соединенных Штатах Северной Америки столь обширны, что многие принцы и короли в истории были бы счастливы их иметь и почитали бы себя на высоте королевской власти.

5

Наконец, нельзя сказать о монархе, что полномочия его бывают всегда бессрочны и пожизненны. Правда, нелегко найти в истории монарха, который занял бы престол на заранее определенное число лет. Однако историки повествуют нам о том, что один из замечательнейших государей Рима, Октавиан Август, принял и утверждал свой "принципат" как срочный. "Республиканская сторона принципата выражалась прежде всего в срочности власти Августа": полномочие могло или "само угаснуть" или же Август мог отречься по собственному усмотрению. "Можно думать, что Август придавал последний смысл своим срокам" <<31>>. В Афинах в борьбе с эвпатридами цари утратили сначала политическую власть и сохранили только жреческие права. Они назывались "архонтами" и были наследственны. Но через три века эвпатриды ввели дальнейшие ограничения: власть царей осталась династической, но срок полномочий их был определен в 10 лет. Тот же процесс отмечается в Аргосе, Кирене и Коринфе <<32>>.

Историки России повествуют нам о том, как в старину вече низлагало и изгоняло князей, изменяло им, тайно приглашая на их место нового князя, причем "перемена князя нередко соединялась с грабежом его двора" и речь какого-нибудь "неизвестного витии" могла "увлечь" массу и "к политическому убийству" <<33>>. Возможно, что нечто подобное найдется еще и в каком-нибудь другом "месте" истории. Но гораздо существеннее то обстоятельство, что бессрочность монарших полномочий слишком часто прерывается внеправовым и противогосударственным способом, ибо история насчитывает такое число удаленных, свергнутых, бежавших, убитых и растерзанных государей, что поименовать этих мучеников, по-видимому, невозможно.

Так, эфоры в Спарте то и дело изгоняли царей за их попытки провести реформу в пользу гелотов: классический конфликт между царем, пекущимся о народе, и привилегированным слоем, отстаивающим свой классовый интерес. Мы уже отмечали, что в III веке спартанский царь Ликург был свергнут дважды. Спартанский царь Агас, внесший в сенат законопроект об уничтожении долгов и о разделе земель, уволивший несогласных эфоров и назначивший других, правивший целый год террористически, - не успел поделить земли: его искусно обвинили и умертвили. На царя Клеомена, действительно проводившего народную реформу, аристократия призвала македонского царя Антигона Дозона, который победил и изгнал Клеомена (222 г. до Р. Х.) <<34>>. За попытки реформы был убит и спартанский царь Павсаний... "Можно сосчитать, как велико число царей, изгнанных эфорами" <<35>>.

В своем трактате "Candide ou l'optimisme" Вольтер дает сначала краткий перечень свергнутых царей (Ахмет III, Иван VI Антонович, Карл Эдуард Английский, Август Польский, Станислав Лещинский, Теодор Корсиканский; список случайный и далеко не исчерпывающий); а потом столь же неисчерпывающий список убитых государей: Эглон, царь Моавитский; Авессалом; Надаб, сын Иеровоама; Эла; Охозия; Гофолия; Иоахим; Иехония; Седекия; Крез; Астиаг; Дарий; Дионисий Сиракузский; Пирр; Персей; Аннибал; Югурта; Ариовист; Цезарь; Помпей; Нерон; Оттон; Вителлий; Домициан; Ричард II; Эдуард II; Генрих VI; Ричард III; Мария Стюарт; <Карл I>; три Генриха французских; <император> Генрих IV. Стольких сумел исчислить Вольтер. История, увы, знает гораздо больше.

Об астраханских хазарах рассказывают, что верховная власть принадлежала у них кагану, но управляло другое лицо - бек (правитель). Во время бедствий и неудач знатные и незнатные собираются к Бегу и говорят ему, как повествует Масуди: "Этот каган и его жизнь приносят нам несчастье; мы считаем это дурным знамением; умертви его или выдай нам, чтобы мы его умертвили". Каган, по-видимому, должен был иметь особую

милость Божию; к нему подходили со знаком величайшего благоговения и повиновались ему во всем, даже если он приказывал кому-нибудь убить себя<<36>>.

Это напоминает сообщения Светония<<37>> и Сенеки<<38>>, что у древних народов за проигранное сражение "обвиняли богов": их упрекали в том, что они плохо выполнили свою обязанность защитников города; иногда дело доходило до того, что опрокидывали их алтари и бросали камнями в их храмы<<39>>. Подобную же расправу над статуями святых современные историки отмечают и в христианском Неаполе<<40>>.

Поль Фукар<<41>> передает, что в Афинах, недалеко от Элевзиния, были воздвигнуты статуи тираноубийцам.

Из первых царей в Риме, числом 7, четверо (первый, третий, пятый и шестой) были убиты патрициями (Ромул, Тулл Гостилий, Тарквиний Приск, Сервий Туллий); последний же, Тарквиний Гордый, был изгнан ими и бежал к царю этрусков Порсене<<42>>.

При убиении Юлия Цезаря в сенате было 60 заговорщиков, а присутствовало 80 сенаторов; Плутарх рассказывает, что большинство их служило в его войсках и было обязано ему честью заседать в Курии. "И эти презренные смотрели на его убиение, не говоря ни слова" <<43>>.

В. И. Герье пишет: "На востоке цари - по крайней мере сыны Неба; религия и касты их охраняют; где же были в Риме те оплоты, которые могли бы защитить воздвигнутый престол? В этом мире, столь давно проникнутом идеями равенства, никто не принимал серьезно апотеозу государя и он остается без жрецов, без дворянства, одинокий, в виду 80 миллионов людей". Отсюда "двойная опасность": на такой высоте, где он видит весь мир у своих ног и где он стоит так близко к богам, голова его легко может закружиться; с другой стороны, чтобы взобраться на эту высоту, заговорщикам достаточно лишить жизни одного человека. Оттого-то в ряду римских императоров от Августа до Константина так много безумных и так много жертв. Из 59-ти - две трети, или 41, погибли насильственной смертью" <<44>>.

Летом 383 года император Грациан был убит одним из своих полководцев, Максимом, который в Галлии заставил провозгласить себя императором<<45>>.

В самый 391 год, в год появления ужасного запретительного противоязыческого закона - один язычник, граф Арбогаст, восстал против Валентиниана II, убил его и на его место посадил очень умеренного православного ритора Евгения. Но победа Феодосия опять объединила всю империю<<46>>.

С половины VIII века на престол Дамаска вступила новая династия Аббасидов в лице Абуль-Аббаса (750 г.); он избил всех членов династии Омайядов, кроме Абдеррахмана, который бежал в Испанию и основал там Кордовский халифат (расцвет его уже в X веке).

Вспомним еще, как коварно "майордом" Пепин Короткий, по соглашению с папою Стефаном, низложил последнего Меровинга - Хильдериха III и заключил его в монастырь, получив от папы санкцию на узурпацию. Карл Великий был его сыном (768-814). Вспомним, как франки свергли своего короля Карла Толстого (887) за его недостаточную воинственность. Вспомним судьбу византийских царей.

В самом начале VII века византийским престолом насильственно завладел Фока (602-610), грубый солдат, дослужившийся до сотника, со свирепым характером. Он убил не только свергнутого им императора Маврикия, но и пятерых его сыновей и стал править террором. Через 8 лет он сам был свергнут византийски-африканским полководцем Ираклием; он спрятался в храме, был найден, растерзан толпой и сожжен на площади Тавра<<47>>.

Через 75 лет после Фоки византийский народ "испытал власть" не менее жестокого Юстиниана II. Он не пощадил родной матери и даже ее подверг нещадному телесному наказанию. Кончил он "так, как обыкновенно кончали тираны, был свергнут с престола и убит" <<48>>.

В 797 г. в Византии император Константин VI, внук Константина Копронима, был свергнут с престола и ослеплен своей матерью Ириной, которая и вступила вместо него на престол. Папа Лев III не признал ее и короновал в 800 году Карла Великого - императором.

Было бы, однако, ошибкою полагать, что византийцы свергали и терзали только дурных и жестоких царей наподобие Фоки, Исаака Ангела или Андроника Комнина. В конце X века свергли замечательного государя Никифора Фоку, который требовал неподкупного правосудия, ограничивал придворные траты, берег казну, но увеличивал налоги и ограничивал доходы монастырей. Уличная толпа издевалась над ним и бросала в него камнями; а жена его Феофано сошлась с генералом (армянином) Иоанном Цимисхием, который сверг Никифора и отдал его толпе на муки и издевательство<<49>>.

В 1268 году, 28 октября, Конрадин Гогенштауфен пал от руки убийцы<<50>>. Филипп IV французский был едва спасен от расвирепевшей черни (1304 г.)... Иаков I, король Шотландии, был убит аристократами-заговорщиками в 1437 году за заключение союза с Францией. Генрих III, король Франции, был убит (1589 г.) католическим монахом Жаком Клеманом после того, как Сорбонна постановила о нем, что государя, "не исполняющего своих обязанностей", можно лишить власти. Карл I, король английский, был публично обезглавлен революционерами в 1649 году. Но исчислить все подобные свержения, нападения на государей и убийства нет возможности.

Упомянем только государей, наследников и членов династий, убитых после французского короля Людовика XVI (1793) и его племянника, сына Карла X, Шарля Фердинанда дюка де Берри, которого заколол в 1820 году фанатик бонапартист Луи Лувель. Последние слова убитого были: "Grâce pour la vie de l'homme!"...<<\*19>> К дважды свергнутым монархам должно причислить Наполеона Бонапарта. Вспомним мексиканского императора Максимилиана, расстрелянного революционерами в 1867 году; персидского шаха Наср-Эддина, убитого религиозным фанатиком, членом секты Бабидов, в Тегеране во внутреннем дворе святыни на 50-м году своего царствования (1896); вспомним, как анархист Луккени убил в Женеве ударом ножа (труакар) императрицу Елизавету Австрийскую (1898); вспомним короля итальянского Гумберта, убитого анархистом Гаэтано Бреши в 1900 году; вспомним, как в 1903 году сто пятьдесят сербских офицеров убили ночью во дворце короля сербского Александра Обреновича и его супругу королеву Драгу и выбросили их трупы в окно; как в 1905 году король испанский Альфонс XIII чудом спасся от брошенной в него бомбы; как в 1908 году король португальский Дон Карлос и его наследник Луи-Филипп были убиты на улице в экипаже профессором (sic!) Мануэлем Дос Рейсом и чиновником Альфредом да Коста. Умолчим ли мы о династиях, низложенных за последние десятилетия? Императоры России, Германии и Австрии, короли Баварии, Саксонии, Вюртемберга, Италии, Испании, Португалии, Югославии, Болгарии, Румынии; монархи Турции и Китая; великие герцоги Бадена, Гессена, Мекленбург-Шверина, Саксен-Веймара, Мекленбург-Штрелица, Ольденбурга и еще других пяти герцогств и семи княжеств Германии - все утратили свои троны вопреки конституциям и без всяких правовых оснований... Вспомним еще одного из замечательнейших государей истории Александра I Карагеоргиевича, убитого македонцем при содействии темных закулисных кругов кроатских (Павелич), венгерских, итальянских, французских (в октябре 1934 г.), а может быть, и сербских... Их всех тревожило возрастающее величие Югославии и мудрая независимость ее короля.

История России повествует нам также об убиении князей и государей. Первыми убийцами выступают сами удельные князья. Таков Святополк Окаянный, убийца князей Бориса, Глеба и Святослава<<51>>. Здесь уместно вспомнить предательское ослепление Василька - Давидом и Святополком, возвращавшимися с Любечского съезда (1097 г.), после взаимного целования креста на верность. В 1174 году слуги убили сильного и мудрого князя Андрея Юрьевича Боголюбского. В 1306 году Юрий Данилович Московский удушил рязанского князя Константина<<52>>. В 1318 году тот же князь убил

в Орде князя Михаила Тверского и надругался над его трупом. В 1325 году князь Димитрий Тверской (Грозные Очи) убил в Орде внука Александра Невского московского великого князя Юрия Даниловича. Вспомним еще ослепление великого князя Василия II Васильевича Темного Шемякою (1446) и свержение его. В 1606 году был убит Лжедмитрий I. В 1610 году был смещен и против воли пострижен царь Василий Шуйский. Вспомним еще историю XVIII века: свержение Иоанна VI Антоновича, свержение и убийство Петра III Феодоровича, перевороты 1730, 1740, 1762 гг. В XIX веке: предательское убийство императора Павла I; ряд покушений на благосердного и великого реформатора Александра II Освободителя, закончившийся его убийством 1 марта 1881 года; убийство великого князя Сергея Александровича и наконец убийство императора Николая II, его семьи, великого князя Михаила Александровича и других членов царствующей династии.

Созерцая всю эту великую цепь преступлений и трагедий, можно было бы попытаться сказать, что государи правят обычно без ограничения сроком, однако с тем пояснением, что срок их правления слишком часто устанавливается завистью других претендентов, интригой других стран или своей аристократии, произволом армии, буйством черни и нападением индивидуального убийцы. Добавим еще, что было бы напрасно воображать, будто республиканская форма правления освобождает главу государства от опасности покушений и убийств. Вильгельм Оранский (Молчаливый, 1533-1584) был не государем, а штатгальтером в Нидерландах, по назначению Филиппа II; в 1583 году он мог бы сделаться голландским государем, но иезуиты (Бальтазар Жерар) поспешили убить этого героя и мудреца (1584). Новгород знает целый ряд убитых посадников<<53>>. В июне 1894 года анархист Казерио убил французского президента Сади Карно. В 1897 году анархист убил испанского премьера Кановаса; в августе того же года был убит президент Уругвайской республики Борда; в январе 1898 года - президент республики Гватемала Баррис; в июле 1899 года президент Доминиканской республики Негуеаух; в сентябре 1901 года - президент Соединенных Штатов Мак-Кинлей; в 1905 году - в Афинах убит первый министр Греции Делианнис игроком Геракарисом за то, что он закрыл игорный дом...

Можно ли после этого говорить о "срочности" и "бессрочности" полномочий монарха и президента? Ведь это значит закрывать себе глаза на живую государственную трагедию и ограничиваться отвлеченным пересказом вечно попираемых конституционных законов... Монарх - по идее - правит бессрочно; он пожизненно государь. Но именно поэтому враги его, - то иностранные правительства, тайно субсидирующие убийц, то католическая церковь, богословски подстрекающая "тираноборцев", то династические конкуренты, то закулисные ненавистники, то революционные ассасины, - торопятся ограничить бессрочность сроком и укоротить предстоящую пожизненность...

Монарх по конституционным законам считается свободным от политической ответственности: отвечает не он, отвечают его советники. Но стоит ли говорить о "безответственности" монарха, когда каждый миг его жизни грозит ему бессудной расправой, насильственным свержением или нападением заговорщиков, хорошо изучивших устройство дворца и его выходы? Правда, пока соблюдаются конституционные "приличия", монарха нельзя ни сместить, ни отдать под суд, ни лишить трона. Но эти "приличия" нарушаются слишком часто и безответственно: каждый считает себя "вправе" безответственно возложить на монарха всю ту ответственность, какую захочет его произвол. Недаром один ученый высказывался в том смысле, что абсолютная власть монарха политически "компенсируется" покушениями на его убийство или, по крайней мере, на его свержение. И недаром один из королей, пережив покушение на свою жизнь и избежав прямого убийства, говорил с улыбкою суверенного мужества о "risques du métier" <<\*20>> (Альфонс XIII).

Таковы великие трудности, ожидающие всякого исследователя в деле формального отличия монархии от республики. В знаменитой Анкарской надписи,

оставленной императором Августом, он сам пишет: "Хотя я был выше всех других по занимаемым мною должностям, я никогда не присваивал себе власти больше того, сколько оставлял ее своим товарищам"... Кем же он был, когда<<54>> публично на коленях, скинув тогу и обнажив грудь, умолял толпу не навязывать ему диктатуру? Буасье характеризует его власть как "перереяженную царскую власть"<<55>>. А кем был Цезарь, которому публично подносили корону под рукоплескания одних, тогда как он (открыто говоривший о необходимости монархии) отвергал ее под рукоплескания других?<<56>> Кем был Наполеон I после восемнадцатого брюмера? Кем был Наполеон III в день декабрьского переворота? Кем был Кромвель, когда в 1658 году перед смертью назначал своим преемником сына своего Ричарда? Кем был Карл V, когда он управлял Нидерландами в качестве главы конфедерации республик?<<57>>

Итак, оставим путь формальной индукции и попытаемся найти более глубокие отличия.

## **Глава вторая**

### **ПРОБЛЕМА МОНАРХИЧЕСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ**

1

Катастрофа, разразившаяся в истории русского народа и с тех пор угрожающая и другим странам, произошла оттого, что на протяжении многих десятилетий, слагающихся по совокупности в века, в душах меркла и исчезала духовная очевидность, т. е. верное восприятие и переживание великих духовных Предметов - Откровения, Истины, добра, красоты и права. Это можно было бы выразить так, что соответствующие им духовные лучи, исходящие свыше, воспринимались человеческими душами все неувереннее, все слабее и беспомощнее; а так как "природа не терпит пустоты", то на их месте водворялись безблагодатные содержания: или противобожественные вымыслы человеческого рассудка, ложные теории, зло, уродство, безвкусице и несправедливости, или же мелкие и ничтожные содержания, в общем составляющие то, что именуется пошлостью. Но злые и ложные химеры способны еще вызывать слепой "пафос", злую одержимость, неистовый и гибельный фанатизм, который однажды разоблачит себя сам, выдохнется и исчезнет. А мелкая ничтожность потребностей и страстишек не способна и к этому: она делает души тепло-прохладными, скудными, мелкими, ничего не любящими, безразличными, трусливыми и предательскими.

Так и произошла катастрофа: зло восстало во всем своем неистовстве, а пошлость трусливо и предательски спряталась, для того чтобы быть поработанной и превратиться в покорное орудие сущего зла.

Это означает, что мы должны вступить на новые пути - волею, чувством, созерцанием, познанием и действием. Для этого мы должны признать несостоятельность наших былых духовных позиций и приступить к обновлению нашего духовного опыта. Мы должны очистить и обновить свой дух, чтобы ему по-новому открылись все духовные предметы. И это относится и к праву, и к государственности, и в особенности к монархии. Нам необходимо обновить и углубить наше монархическое правосознание.

Люди из поколения в поколение незаметно привыкают жить так, как если бы право и правовая форма жизни были чем-то внешним и притом самодовлеющим. "Кроме меня есть на свете еще другие люди, властно распоряжающиеся жизнью и требующие от меня, нередко с угрозами, чтобы я это делал, а того не делал; требуют они многого, требуют авторитетно и следят за мною, слушаюсь ли я; часть их требований записана и напечатана, другая часть сообщается мне устно; в этом много неприятного, и я всячески стараюсь уклониться от неприятного; тогда меня начинают судить и грозят мне наказанием"... И в этом будто бы состоит правопорядок...

На самом же деле все обстоит совсем иначе. Правопорядок состоит в том, что каждого из нас признают живым, самоуправляющимся духовным центром, личностью, которая имеет свободное правосознание и призвана беречь, воспитывать и укреплять в

себе это правосознание и эту свободу. В основе всякого права, и правопорядка, и всякой достойной государственной формы лежит духовное начало: человек призван к самостоятельности и самодеятельности в выборе тех предметов, перед которыми он преклоняется и которым он служит. Ему дана от Бога и от природы свобода духовного самовоспитания и самостроительства; это его право, его естественное право и в то же время - его призвание и его обязанность; и с этого все начинается. Если он внутренне, перед лицом Божиим, признает это и воспитывает себя к свободе и дисциплине, то ему присуще живое правосознание и он имеет основание считать себя и считаться от других субъектом права. Если же этого нет, то он, как существо без правосознания - будет жить собственным произволом и терпеть произвол от других. Тогда все права, предоставляемые ему, будут напрасным даром: он не сумеет ни воспользоваться ими, ни оценить их, ни сберечь их; всякий правопорядок, будет им погран и всякая государственная форма будет им нарушена и разрушена...

Без правосознания нет субъекта права, а есть лишь одно трагикомическое недоразумение - духовно пустой человек, которому напрасно предоставляются права живого духа. Тогда и право оказывается пустым словом и жизненным недоразумением; и правопорядок становится фиктивным, а государственная форма обречена на разложение и гибель.

## 2

Однако правосознание совсем не сводится к тому, что человек "сознает" свои права и о них "думает". Человек есть существо общественное, и если он об этом забудет, то умаление или прямое попрание его прав быстро напомнит ему об этом. Право не только уполномочивает, но и связует. Разумя свои права, человек призван разуметь и свои обязанности; он должен разуметь и то, что ему запрещено, чего он не смеет. Он призван также разуметь, что всем другим людям и каждому человеку в отдельности тоже присущи права, которые он должен признавать и уважать; что его собственные права как бы живут и питаются чужими обязанностями и запретностями, подобно тому, как чужие права ограничивают и связывают его самого. Правопорядок связывает людей друг с другом ("соотнесенность", "коррелятивность") и притом на основах взаимности ("мутуально"). Он представляет собою как бы живую систему взаимно признаваемых прав и обязанностей, или, что то же, - правоотношений; частных правоотношений, поскольку ни одна сторона не властвует над другой, и обе подчиняются единой, вышестоящей публичной власти; и публичных правоотношений, поскольку одна из сторон имеет властное полномочие, а другая обязанность подчинения.

С другой стороны, правосознание отнюдь не сводится к "сознанию" или "мышлению". В правосознании участвуют так или иначе все душевные силы человека: и воля, и чувство, и воображение, и все те способности и силы, которыми человек осуществляет свои действия во внешнем мире; и в особенности - человеческий инстинкт.

Отстаивая свои права, человек желает их признания и требует, чтобы их блюли и уважали. Признавая чужие права, человек тем самым вменяет себе в обязанность их соблюдение, т. е. связывает свою волю мерою и дисциплиною. Желание, намерения, жизненные планы людей сталкиваются; право их сдерживает, оформляет и разграничивает. Можно прямо сказать, что правосознание есть воля человека к соблюдению права и закона, воля к лояльности своего поведения, воля к законопослушанию. Во всяком случае, правосознание без воли будет или бездейственным утопическим мечтанием, или сплошным жизненным дезертирством, предательством, "непротивленчеством" и безвластием.

В этом деле великое значение принадлежит человеческому чувству. Во-первых, в том смысле, что человеку присуще особое чувство правоты, чувство справедливости, чувство ответственности и чувство свободы, которыми ему подобает руководствоваться в общественной жизни. Во-вторых, в том смысле, что правосознание само по себе есть чувство уважения к закону и законности; чувство преклонения перед авторитетом

законной власти и законного суда и соответственно чувство долга и связанности им (например, служебного долга), живое чувство связующей дисциплины. Наконец, в-третьих, правосознанию естественно и необходимо любить свой народ, свою страну, свое отечество и в этой любви почерпать все те руководящие чувства, о которых я упомянул. Только любовь привязывает человека к чему-нибудь на жизнь и на смерть; только любовь вызывает в душе ту верность, без которой немислимо никакое государство; только любовь открывает человеку то духовное око, которое позволяет ему отличать в жизни Божественное от небожественного и превращать свою жизнь в истинное служение. Правосознание вне чувства и любви будет патриотически-безразличным, формально-педантическим и породит ту мертвенную бюрократическую машину, у которой *summum jus* (последовательнейшая законность) будет совпадать с *summa iniuria* (с величайшей несправедливостью). Правопорядок без жалости, без снисхождения, без милости может только угнетать людей.

Нетрудно убедиться и в том, какое значение имеет во всем этом сила воображения. Здесь дело, конечно, не в субъективном фантазировании, а в предметном созерцании правопорядка, справедливости, естественного права, человеческой души и государственной формы. Каждый из нас должен увидеть воочию окружающий нас живой правопорядок, связанность личных правовых "ячеек" друг с другом и свое собственное участие в этой жизни; тогда только он поймет, к чему это его призывает и обязывает. И справедливость совсем не совпадает с отвлеченным понятием равенства; напротив, она есть живое созерцательное приспособление к человеческому неравенству, - искание и нахождение для каждого верной меры "бремен" и "облегчений". Чтобы верно понять "естественное" право, необходимо найти его в глубине своего собственного духа, "почувствовать" его, увидеть его силою воображения и восхотеть его волею. Воспитатель, следователь, судья, правитель и законодатель, не способные вчувствоваться в чужую душу силою воображения, - не справятся со своей задачей, что ныне наглядно доказано опытом тоталитарных государств. И наконец, ни одна государственная форма не будет верно понята до тех пор, пока люди, творящие ее и подчиняющиеся ей, не увидят ее как живой организм законодательства, управления, суда и гражданственного воспитания. Словом, правовая жизнь нуждается в живом, предметном созерцании; и всякий, кто хоть раз в жизни пытался составить законопроект или применить закон в жизни, истолковывая его и делая из него верные выводы, сразу поймет и примет мое утверждение. Правосознание вырождается вне совестной интуиции.

В том, что правосознание захватывает и подчиняет себе все внешние проявления человека и в особенности все его действия, не может быть ни малейшего сомнения: и слово (например, в выражении согласия-несогласия, или в оскорблении, или в политической речи), и писание, и всякое телодвижение, и даже умолчание. Человек отвечает перед законом и правопорядком за свое тело, как за орудие своей воли; и поэтому так легко сразу отличить человека, лишённого правосознания и чувства ответственности, по его внешнему поведению или даже по манере держаться в обществе. Чувственные ощущения и восприятия, телесность и вещественность человека вводят человека в Божий мир; это язык телесного труда, хозяйства и миропросветления. Правосознание аскета, йога, отвернувшегося от чувственных ощущений, вещей и людей, буддиста, пытающегося обойтись без мира, будет пустым, эмбриональным, бездейственным и химерическим.

Если охватить все это единым взглядом, - всю эту цельность правосознания и все его жизненные задания, - то мы неизбежно придем к тому выводу, что правосознание есть в конечном счете некая духовная дисциплинированность инстинкта, которая вызывает в нем живое чувство ответственности и сообщает ему известное чувство меры во всех социальных проявлениях человека. Именно так и обстоит на самом деле. Человек, одаренный живым правосознанием, инстинктивно чувствует предел своих полномочий, внутреннее понуждение к исполнению своих обязательств и обязанностей и некое

отталкивание от запретных действий. В глубине его души живет легкий "удерж", который мешает ему совершить запретное, причем этот "удерж" всегда находит для себя глубокую санкцию в совести и высокую санкцию в религиозности.

Не следует вообще думать, будто человеческий инстинкт, - жизненно-животно-жадный, - противостоит духу и всяческой духовности. Напротив, он может и должен нести в себе свою особенную, полуосознанную (а иногда и совсем неосознанную) духовность. Так, напрасно думать, что художник "выдумывает" или "изобретает" свои создания; на самом деле он прежде всего испытывает их ("концепирует", вынашивает) духом своего инстинкта, с тем чтобы потом осуществить их, облечь их во внешние ризы - силою духовно-инстинктивного выбора и вкуса: искусство создается бессознательно-инстинктивной духовностью.

Напрасно также представлять себе совесть как рассудочное "со-вещание" человека с самим собою о надлежащем поведении. Совесть есть власть духа над инстинктом, однако без раздвоения их, ибо эта власть осуществляется теми корнями духа, которые живут в самом инстинкте: именно поэтому человек совершает совестный поступок с уверенностью в своей правоте, с интуитивной быстротой и инстинктивной страстной цельностью, что нередко воспринимается другими несовестными людьми, как "безрассудство". Совесть есть как бы глас Божий, цельно овладевший человеком, его инстинктом и его судьбою (см. главу "О совести" в моей книге "Путь духовного обновления").

Особенное значение духовность инстинкта приобретает в религиозности и в молитве. Вера есть состояние цельное, не могущее осуществиться вне человеческого инстинкта; если инстинкт не "обратился", а отделился и замуровался в своей обособленности, то вера не будет целью: тогда человек будет "веровать" поверхностно и не верить глубиной своей души; он будет молиться словами и жестами, но не сокровенным огнем своей личной страсти и молитва его останется холодной и притворною. Это будет означать, что или его инстинкт лишен духовности, или же духовность его инстинкта еще не обратилась и не возгорелась в молитве и вере. Именно это имеет в виду русская народная мудрость: "кто в море не тонул и детей не рожал, тот Богу не изливался"; причем имеется в виду именно последняя глубина человеческого духо-инстинкта и ее искренне-целостное обращение к Богу.

Отсюда следует, что искренняя религиозность есть вернейший и глубочайший корень правосознания и что верующая душа может обладать верным и мощным правосознанием, несмотря на малую "образованность" своего сознания.

3

Теперь должно быть уже совершенно ясно, что постигнуть жизнь и смысл государственной формы невозможно помимо правосознания. Ибо всякая государственная форма есть прежде всего "порождение" или "произведение" правосознания, - конечно, не личного, но множества сходно живущих, сходно "построенных" и долго общающихся личных правосознаний. Человеческие души неодинаковы и не равны: они все своеобразны и различны. Но те духовные акты, которыми они живут и строят свою жизнь, могут иметь некоторые черты сходства в своих основах и в своем строении, причем долгое общение может увеличить это сходство, а драгоценное духовное подобие может укрепить волю к постоянному и плодотворному общению. Возникает акт национального правосознания, национального самочувствия и самоутверждения, и из него вырастает исторически государственное правосознание и государственная форма народа.

Выражая это психологически, можно было бы сказать: у всякого народа своя особая "душа" и помимо нее его государственная форма непостижима. Потому так нелепо навязывать всем народам одну и ту же штампованную государственную форму.

С социологической точки зрения надо было бы описать это так. Множество людей переживает своим правосознанием сходную потребность в праве и в государственной власти; у многих людей - единая цель: жить в правопорядке, быть

правовым и государственным единством; эта цель переживается чувством, волею и действием; здесь и бессознательно, и сознательно скрещиваются лучи правосознаний, создающих государственную форму. Отсюда - у многих людей единая государственная власть, единая система законов и единый, общий им всем государственный строй.

Всякий юрист должен понять и признать, что именно правосознание есть тот орган, без которого нельзя жить правом, вступать в правоотношения с другими людьми, поддерживать правопорядок, тягаться о правах, творить суд, организовывать частные общества (ученые, акционерные компании, клубы, кооперативы) и публично-правовые организации (законодательные собрания, думы, земства), участвовать в выборах, быть чиновником, президентом и монархом. Это необходимо всегда помнить; с этим необходимо всегда сообразоваться. Правосознание необходимо в общественной и политической жизни как главное "орудие". Нельзя предполагать, что оно присуще всем людям изначально и одинаково: его необходимо воспитывать и укреплять в людях с детства. С детства необходимо вселять в людей уверенное, непоколебимое чувство, что они суть духовные существа, что они признаются субъектами права, что им присуще духовное достоинство, что они призваны к самообладанию и самоуправлению, что они призваны к взаимному уважению и доверию, что государственная власть уважает их и доверяет им и что они призваны отвечать ей теми же чувствами. Правосознание воспитывается в людях, а не предполагается готовым, зрелым и полномощным, "пока не будет доказано обратное"... И если люди забывают об этом и пренебрегают этим, то государственный кризис может наступить внезапно и неотвратимо.

Такие ошибки человек делает и в материальной сфере, и в духовной. Но вещи "мстят за себя" быстро и осязательно и этим воспитывают человека в пример его ближним; а в духовной сфере ошибки могут накапливаться долго и вдруг приводить к катастрофе. Кто не протирает долго свои очки, тот замечает, что видит плохо и что их надо протереть. Хирург, пользующийся тупым и грязным ланцетом, наделает бед и его устроят от должности. Скрипач то и дело настраивает и проверяет свою скрипку. Обрезав провод у телефона, телеграфа или электрического освещения, человек не получит ни звука, ни сигнала, ни света... Но в сфере духовного опыта люди позволяют себе пренебрегать его законами.

Люди то и дело пытаются говорить о праве и о государственных делах и действовать в политике, ни разу в жизни не прочистив очков своего правосознания; они то и дело пытаются "оперировать" от лица государства посредством тупого и нечистого орудия - своего бессовестного или классового правосознания; или же они пытаются править государством, воображая, что их слово всемогуще, а принуждение есть нечто постыдное; они "разыгрывают" целые политические "концерты", ни разу не подумав о том, что необходимо верно настроить скрипку своего политического разума; они как бы перерезают провод между личным правосознанием гражданина и государственной властью и удивляются, что в душах воцаряется революционный хаос, а государство переживает великое крушение...

Право и государственная форма - или бывают несомы правосознанием, или же вырождаются: тогда они превращаются в мертвую отвлеченность научной юриспруденции, в юридическую фикцию (вымысел), в "эмоциональную фантазму" (Л. И. Петражицкий), в пустую видимость, в нежизнеспособную слабость, которая обрушивается при появлении дерзкого политического авантюриста-революционера или при первом же буйстве уличной толпы...

Итак, государство, государственная форма, правопорядок и вся политическая жизнь народа - суть всегда проявление, живая функция, живое создание множества личных правосознаний, их силы, их верности, их действенности, их строения, их совестного благородства, их религиозности или соответственно их безбожия. И вне этого духовно-функционального освещения и постижения всякое определение будет формальным, поверхностным и условным.

При этом следует иметь в виду, что не субъективный произвол и не рассудок решают в каждом отдельном случае, какое строение имеет правосознание данного лица или народа и к какой именно политической форме оно тяготеет. Человеческое правосознание возникает иррационально, оно развивается исторически, оно подлежит влиянию семьи, рода, религиозности, страны, климата, национального темперамента, имущественного распределения и всех других социальных, психологических, духовных и материальных факторов. С этой точки зрения можно было бы говорить, например, о "морском" правосознании греков и англичан и о "континентальном" правосознании у русских и у китайцев; о религиозном правосознании магометан и о безрелигиозном правосознании современных социалистов-коммунистов; о родовом правосознании древней гражданской общины и о безродном правосознании современных республик и т. д. Все это означает, что государственная форма присуща каждому народу в особицу, вырастая из его единственного в своем роде правосознания, и что только политические верхогляды могут воображать, будто народам можно навязывать их государственное устройство, будто существует единая государственная форма, "лучшая для всех времен и народов"... Все это означает еще, что правосознание может и должно воспитываться в народе и что это воспитание (или соответственно - перевоспитание) требует времени, духовной культуры, педагогического разумения и опыта. И нет ничего опаснее и нелепее, как навязывать народу такую государственную форму, которая не соответствует его правосознанию (например, вводить монархию в Швейцарии, республику в России, референдум в Персии, аристократическую диктатуру в Соединенных Штатах и т. д.).

4

Отсюда явствует, что сущность монархического строя, в отличие от республиканского, должна исследоваться не только через изучение юридических норм и внешних политических событий, но прежде всего через изучение народного правосознания и его строения. Здесь необходимо, однако, соблюдать известные исследовательские правила, при нарушении которых все может повести к полной неудаче или к произвольной выдумке.

Так, во-первых, не следует искать критерия в явлениях смешанных, переходных, беспочвенных и разлагающихся. Понятно, что смешанным и переходным формам правления соответствует такое же состояние правосознания. Надо изучать явление не в его закате и разложении, не в эпоху смуты и бессилия, а в его здоровый и силе. Ибо возможно такое состояние правосознания, при котором оно вообще неспособно ни к какой зрелой государственной форме: например, оно уже неспособно к традиционной монархии и совсем еще неспособно к республиканской форме; тогда обычно водворяется более или менее жестокая диктатура. В душах царит хаос; о публичном спасении никто не помышляет; чернь ищет хлеба и зрелищ, среднее сословие жаждет наживы, высшее сословие - почестей и власти, и все несут свое государство врозь. Такие состояния известны нам в истории Китая, из истории Пелопоннесской войны, из эпохи цезарей в Риме, из эпохи Возрождения (итальянские кондотьеры), из истории Тридцатилетней войны, русской Смуты и т. д.

Вторым исследовательским правилом является живой, художественный подход к монархическому и республиканскому правосознанию. Исследователь должен вчувствоваться в описываемое настроение, воззрение или убеждение; он должен, - совершенно независимо от своих личных склонностей и симпатий, - лично пережить, перечувствовать как сильные, так и слабые стороны монархического и республиканского правосознания. Нельзя выделить одни сильные стороны монархического уклада души и противопоставить их слабым сторонам республиканского уклада; и обратно. Нелепо и несправедливо было бы сказать, что республиканское правосознание своекорыстно и продажно, а монархическое - бескорыстно и неподкупно; или - что монархическое правосознание характеризует рабскую натуру человека, а республиканское - человека со зрелым и свободолюбивым самочувствием. Исследователю необходимо не только

интуитивное вчувствование, но и партийное беспристрастие, справедливость и политический такт. Ибо может оказаться, что оба эти политические воззрения и настроения имеют свои сильные и свои слабые стороны, свои здоровые основы и свои опасности... Может также оказаться, что республиканец "чистой воды" может многому научиться у настоящего, честного и убежденного монархиста; и обратно, - что искренний монархист восходит на настоящую высоту именно тогда, когда обогащает верные основы своего политического уклада лучшими умениями республиканского правосознания.

После всего сказанного мы можем обратиться к предметному анализу.

## **ЧАСТЬ II**

### **Глава третья**

#### **ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ**

1

Исследуя монархическое правосознание в отличие от республиканского, мы скоро замечаем, что ему присущи некоторые основные тяготения, склонности или потребности, которых не разделяет или которые прямо отвергает и осуждает республиканец. Каждая из этих склонностей есть своего рода иррациональное (хотя иногда и сознаваемое) предпочтение души; оно может не только вступить в сознание, но даже породить обобщение, теорию или доктрину; но у народной массы оно может оставаться и подсознательной "установкой" души. Идейная страстность превратит это тяготение в пафос - пафос монархии или республики; слепая страстность создаст неистового республиканца или ожесточенного монархиста.

Каждое из таких тяготений приводится мною в порядке отличия или даже противопоставления. Но эти различные или противоположные тяготения отнюдь не следует понимать как логические или психологические несовместимости. Жизнь пестра и сложна, а человеческие души - в особенности. Есть монархисты по традиции, которых привлекает что-то в республиканском порядке вещей; и бывают республиканцы с монархическими уклонами, сущность которых им самим не ясна. Указываемые мною в дальнейшем тяготения сочетаются у людей различно. Борьба между монархистами и республиканцами в разные эпохи и у разных народов развертывалась то преимущественно из-за одного отличия, то из-за другого: бывало так, что в основе лежали религиозные разногласия, но бывали затяжные конфликты на почве социальной; то выдвигалось начало справедливости, то начало равенства, то начало свободы; побуждения честлюбия, настроения революционного авантюризма, жажда власти и другие подобные побуждения сочетались своеобразно в разные времена и в разных странах. Но именно поэтому бывает нелегко найти цельных представителей определенного типа, разве только среди доктринеров, и притом партийных доктринеров. Во всяком случае те различия, на которые я сейчас укажу, не должны пониматься в "диалектическом" смысле: или одно, или другое. Напротив, здесь все сложно, живет в оттенках и не нуждается в заострении. Можно быть искренним монархистом, но ценить и оправдывать не всякую монархию, отвергая монархию произвола, гнета, террора и военного приключения; и обратно, честный республиканец может отнестись с отвращением к республике, построенной на демагогии, на продажности, национальной измене и закулисом обманывании народа.

Теперь мы можем обратиться к нашим противопоставлениям.

2

1. Монархическому правосознанию свойственна потребность олицетворения государственного дела, отнюдь не характерная для республиканского правосознания. То, что олицетворяется, есть не только верховная государственная власть как таковая, но и самое государство, политическое единство страны, сам народ.

Народ, по самому способу своего существования, есть великое, раздельное и рассеянное множество. А между тем его сила, энергия его бытия и самоутверждения требуют единства. Здесь явное расхождение между формой земного существования и

духовным бытием; и это расхождение должно быть так или иначе преодолено. В чем же наше единство? - спрашивает народное правосознание... В территории? Но границы ее изменчивы и спорны... В армии? Но армия есть такое же множество, как и сам народ, если у нее нет единого командования и единого главы... Единство народа требует зрелого, очевидного, духовно-волевого воплощения: единого центра, лица, персоны, живого единоличного носителя, выражающего правовую волю и государственный дух народа. Отсюда потребность олицетворять государственное дело - и власть, и государство, и родину-отечество, и весь народ сразу.

Процесс олицетворения (персонификации) состоит в том, что нечто неличное (в данном случае - государственная власть), или сверхличное (родина-отечество), или многоличное (народ, объединенный в государство) - переживается как личное существо. Однако не просто в качестве "символа", ибо символ только "замещает" и "представляет", а в смысле живого тождества, преодолевающего раздельность и личностно воплощающего искомое единство. Этот процесс есть художественный процесс, в котором монарх художественно отождествляется с народом и государством, а народ художественно воплощает себя и свое государство в Государе. Это означает, что монархическое правосознание включает в себя художественное созерцание и художественное творчество, сущность которого будет раскрыта в дальнейшем. Именно эту художественность монархического начала имел в виду граф А. К. Толстой, когда говорил: "я ненавижу деспотизм, ... но... я слишком художник, чтобы нападать на монархию".

Это олицетворение кажется республиканскому правосознанию совершенно неубедительным и ненужным. Почему именно это лицо воплощает государство и государственную власть? Почему не другой кто-нибудь, более умный, более образованный, более даровитый? Почему, например, не "я"? Почему вообще кто-нибудь один, а не все мы вместе и сообща? Почему не многие по очереди? Да и к чему это "олицетворение" вообще? Да еще с явной монополией? Что за детская игра в символы? Зачем вносить мечтательное искусство в трезвое дело государственности?

В результате республиканец переживает этот процесс олицетворения как несоответствующий "идеалам" "демократии", как шокирующий, опасный и вредный. Особенно возмущает его монополия олицетворения, явно устранившая всех, кроме одного. Он полагает, что всякое такое олицетворение должно быть сведено к необходимому минимуму и притом к внешней условности: совершенно достаточно условного, срочного, очередного, чисто формального и внешнего фигурирования; и уж совершенно недопустимо участие внутреннего мира - чувства, воли, воображения, преклонения, всевозможных напряжений духа и волнений сердца.

Юридически это можно было бы выразить так, что субъект олицетворяемый (государство) и субъект олицетворяющий (президент республики или главнокомандующий ее войсками) - отчетливо различаются и даже резко противопоставляются республиканским правосознанием; в то время как монархическое правосознание успокаивается только тогда, если переживает здесь художественное отождествление. Вот почему монархист так легко и естественно переживает это тождество и выговаривает его, тогда как республиканец шокируется, протестует, иронизирует и негодует, цитируя выражение Людовика XIV "l'Etat - c'est moi" <<\*21>> <<58>> как бессмысленную заносчивость или вредное безумие, а выражение Спинозы "rex est ipsa civitas" <<\*22>> - как курьезный пережиток, простительный бедному мудрецу, проживавшему на чердаке и ничего не понимавшему в политике.

Ипполит Тэн отмечает, что Наполеон Бонапарт быстро усвоил себе это самочувствие монарха еще в эпоху консульства и затем закрепил его коронованием: "Он начинает говорить с такою же легкостью и непринужденностью, как сам Людовик XIV, и даже с еще бóльшим деспотизмом - моя армия, мой флот, мои кардиналы, мои соборы, мой сенат, мой народ и моя империя"... Монарх отождествляет себя со своим народом и

отечеством подобно тому, как народ переживает это отождествление через персонификацию.

Это различие можно было бы пояснить аналогией из области религиозной: республиканец относится к монархисту приблизительно так, как пантеист ("растворяющий" Божество в мире) или деист (не признающий личного Бога) к теисту, верующему в ипостась Бога живого и личного. Субъективно говоря, пантеист не чувствует потребности олицетворить Божество: ему достаточно "общего", растворенного, универсального представления, учение же о личном Боге он считает произвольной, ненужной, субъективной выдумкой людей, стоящих на "низшей" ступени развития. Олицетворение или персонификация возникает именно из потребности облечь духовный предмет в живой, законченный, духовно-человеко-подобный образ. Когда эта художественная потребность вносится в религиозный опыт, то возникает учение о личных богах. Есть религиозные учения, которым эта потребность совершенно чужда, например, учение Лаоцзы; таково же первоначальное учение Будды; но современный буддизм восчувствовал эту потребность и обожествил самого Будду. Пластическая религиозность древнего грека не могла удовлетвориться безличными богами. Можно было бы сказать, что художественно одаренные народы обычно вносят свое художественное созерцание и в религию; а так как настоящая религиозность цельна и охватывает весь духовный акт человека, то и в правосознание. Отсюда представление о личной власти в государстве, о человеке-властителе-сверхчеловеке, о вожде, полководце, императоре. Вот почему скульптура, изображающая Александра Македонского, представляет один из высших взлетов греческого духа: пластическое явление царя в форме греческого бога, не то Тезея, не то Геракла, не то Марса, не то Аполлона (отсюда и споры музейных знатоков); скрещение национальной религии, национальной государственности и национального искусства. Замечательно, что сухое, трезвое, утилитарное правосознание римлян, изжив первый романтизм царского мифа, надолго удовлетворяется республиканскою формою и художественно оживает только под влиянием разложения демократии и республиканского правосознания, особенно же под влиянием эллинизма. Еще более поучительно то обстоятельство, что христианская религия, даровавшая миру откровение личного Бога, на много веков оживила потребность олицетворять и созерцать воочию государственную власть; и что за последние два-три века (XVIII, XIX и XX) кризис христианства и кризис монархической государственности идут рука об руку.

Я был бы даже склонен выдвинуть такое обобщение: художественно одаренный народ может изжить почти весь свой дар в искусстве и в религии; но в глубине души он всегда останется предрасположенным к монархии и склонным к монархической реставрации: стоит только этой потребности проснуться в его политическом правосознании. Исторически и политически чрезвычайно интересно следить за тем, как потребность в олицетворении, проникая в душу республиканского народа, слагает сначала "зародыш", потом ядро и наконец уклад монархии. Так было с Александром Македонским, с Юлием Цезарем, с Октавианом Августом, с Наполеоном Бонапартом. У генерала Буланже и у маршала Мак-Магона в эпоху третьей французской республики все остановилось в зародыше. На таком же зародении без расцвета все остановилось и у Оливера Кромвеля в Англии и у президента Вашингтона в Соединенных Штатах. Вспомним, что и ныне все идущие мимо его бывшей резиденции снимают шляпу и идут с непокрытой головой, как в Москве под Спасскими воротами Кремля.

Но и обратно: по мере того как потребность в олицетворении слабеет и исчезает в народном правосознании, - монархический уклад уступает свое место республиканскому. В этом отношении особенно поучительно видеть, как ошибки, колебания, неосторожности и жестокости монархов могут вызывать не только охлаждение к данному королю, а разочарованное, судорожное сжимание всего олицетворяющего душевно-духовного акта... Такова, например, история первой французской революции: олицетворение прервалось, потом восстановилось вновь, но уже на другом лице. Напротив, в России потребность в

олицетворении была столь религиозно-подлинна и художественно непоколебима, что все жестокости и мероприятия Иоанна Грозного ("перебор людишек!") не ослабили монархического чувства в правосознании русского народа.

Именно в силу этих особенностей правосознания - армия в республике пробуждает потребность в олицетворении и нередко становится очагом монархического правосознания, особенно если полководец-герой и патриот всегда единоличен и олицетворяет армию так, как армия представляет собою весь народ и все государство. Поэтому монархический уклад может зарождаться в стране не только через политически-государственное, но и через армейски-воинское олицетворение. В истории римских цезарей мы это видим на каждом шагу. А в наши дни мы невольно думаем о популярности Макартура в Соединенных Штатах и о расправе французских республиканцев над заслуженным и величавым старцем маршалом Петеном.

Итак: монархическое правосознание тяготеет к олицетворению государственной власти и всенародного коллектива; а республиканское правосознание тянет к растворению личного и единоличного начала, а также и самой государственной власти в коллективе.

3

2. Для того, чтобы понять сущность монархического олицетворения, необходимо все время иметь в виду его религиозную природу. Дело в том, что монархическому правосознанию, сквозь все известные нам исторические века, присуща склонность воспринимать и созерцать государственную власть как начало священное, религиозно освящаемое и придающее монарху особый, высший, религиозно осмысливаемый ранг; тогда как для республиканского правосознания характерно вполне земное, утилитарно-рассудочное восприятие и трактование государственной власти.

Это отнюдь не значит, что монархист не желает или не способен мыслить рассудком и устанавливать наблюдением пользу и вред государства, силу и слабость государственной власти и успешность или неуспешность ее отдельных мероприятий... Напротив, он может и он обязан знать историю, понимать социологию и эмпирически проверять всякую политическую меру. Если он теряет эту способность и это желание и забывает о причинах и последствиях в земной жизни, то он быстро впадает в крайности слепого и неумного "мистицизма", а может быть, и в злокачественное ханжество, которое обычно приносит народу и стране неисчислимый вред, а иногда губит и самый политический строй.

История могла бы указать нам целый ряд временщиков, которые для закрепления своего личного влияния при дворе культивировали в душе государя и его семьи эту нелепую и вредоносную установку, согласно которой вера исключает рассудок и разум в государственном деле, а религиозно-мистическое настроение угашает или убивает идею государственной пользы. Проблема "пользы" есть вопрос о верно найденной и верно осуществленной причинной связи между средством и целью. Более того: это есть вопрос о верной цели и, следовательно, - вопрос о волевом, действенном отношении к жизни, к ее запросам, проявлениям и последствиям. Вера в Бога отнюдь не призвана к тому, чтобы исключать или подавлять волевое творчество человека: напротив, она должна указывать человеку истинную, Богу угодную цель жизни (и личной, и политической) и вызывать в нем героические напряжения воли, при уверенности, что помощь Божия довершит все то, что изнемогший герой не сможет осуществить.

К тому же надо признать, что и в личной, и в народной жизни верные средства для верной цели обретаются совсем не рассудком, а интуицией, т. е. созерцательным погружением души в жизненное наблюдение и в смысл собранного жизненного опыта, причем весь этот процесс осуществляется иррационально (или "полу-иррационально") великою силою инстинкта самосохранения, личного в личных делах и народно-патриотического в политике. И вот, религиозная вера есть величайшая сила, призванная углублять, очищать и облагораживать инстинкт личного и национального самосохранения, но отнюдь не гасить, не обессиливать и не извращать его неверными,

лже-богословскими доктринами. От созерцания Бога и от молитвы инстинкт самосохранения очищается и одухотворяется, в нем пробуждается совестное правосознание, он постепенно делается дисциплинированным, мудрым, покорным, вплоть до готовности умолкнуть и согласиться на личную смерть во имя Дела. Это относится и к национальному инстинкту самосохранения. История знает явления величайшего духовного подъема и героической воинственности, возникшие в массах на этом пути, например, завоевание магометанами-арабами передней Азии, северной Африки и Испании в VII и VIII веках; борьба Нидерландов и Швейцарии за независимость; свержение татарского ига в России и др.

Но если "мистическое" восприятие власти начинает ослаблять инстинкт национального самосохранения, расшатывать государственную волю, мутить разум и сеять больные фантазии, то государство или разлагается и гибнет, или же обновляет свою форму правления, сбрасывая вредный мистический туман и дурман и обращаясь к инстинктивно здоровому целеполаганию и трезвому отысканию путей и средств. Принципиально говоря: сказать "мистическое" - совсем еще не значит сказать "глубокое", "чистое", "верное", "благотворное", "Богу угодное"; ибо бывает мистика больная, извращенная, порочная, прикрывающая зло ханжеством, и даже дьявольская. И вот, если монархическое правосознание заболевает больным "мистицизмом", извращающим или обессиливающим здоровый инстинкт национального самосохранения, то это расхождение между инстинктом и духом может закончиться крушением монархии; может последовать провал из больного монархического правосознания в больное республиканское правосознание, неспособное к трезвой утилитарной политике, и тогда трагическая развязка окажется неизбежной.

Итак, религиозное восприятие власти оказывается плодотворным именно тогда, когда оно пробуждает в монархе и в народе дальнорочность, мудрость и жертвенность совестного правосознания. Именно таково было царствование Петра Великого, этого величайшего эмпирика в политике и государственного утилитариста, внутренне вдохновенного религиозным пониманием своей власти и своего призвания. Иным по темпераменту, но сходным по традиции, по восприятию и по творческой продуктивности было царствование императора Александра II Освободителя.

Добавлю только во избежание недоразумений, что история знает целый ряд выдающихся монархов, которые сами не были склонны к мистическому восприятию власти. Тогда инстинктивно-утилитарный путь подсказывался им или своеобразным патриотизмом, то воинственным, как у фараона Нехао, то созидательным, как у императора Адриана и Генриха IV французского; или пафосом моральной ответственности, как у Фридриха Великого; или вдохновенным властолюбием, как у Наполеона Первого. Замечательно, что политически вдохновенный монарх внушал мистическое преклонение своим подданным даже и тогда, когда он сам не склонялся ни к религиозности, ни к мистицизму, например, Октавиан Август, Фридрих Великий, Наполеон I и другие.

Религиозное восприятие монархической власти отмечается историей на протяжении тысячелетий, и притом во всех странах света.

Уже древнейшая дошедшая до нас книга истории (2000 лет до Р. Х.), китайская летопись Шу-дзин знает об особом сродстве императора с Небом, но постоянно оговаривается, что это сродство присуще ему только при условии, если император добродетелен и исполняет волю Неба: иначе он теряет свое небесное призвание и полномочие, божественный "мандат" <<59>>.

Но наиболее цельное понимание мы находим в законах Ману (доисторический кодекс древней Индии, Манава-Дхарма-Шастра). Мистическая природа царской власти объясняется здесь онтологически <<60>>. "Сей мир, лишенный Царей, был обуреваем со всех сторон страхом; и вот, для сохранения всех существ Господь создал Царя, взяв вечных частиц от субстанции Индры, Анилы, Ямы, Сурии, Агни, Варуны, Чандры и

Куверы; и именно потому, что Царь был создан из частиц, извлеченных из естества главнейших богов, он и превосходит сиянием всех других смертных. Подобно солнцу, он обжигает глаза и сердца, и никто на земле не может смотреть ему в лицо. Он есть Огонь, Ветер, Солнце, Гений Луны, Царь правосудия, Бог богатств, Бог вод, Владыка тверди - по своему могуществу"... И дальше поясняется, что Царь и должен иметь все нравственные качества богов, дабы Всевышний не наказал его за кощунство. Итак, Царь божествен - по бытию своему, по составу своего существа: эта божественность дана ему мистически, а жизненно и действенно она ему еще только задана; и горе ему, если он кощунственно уронит ее или не соблюдет. В этом понимании как бы заложен весь последующий индо-европейский "цезаре-папизм": ибо Царь принял в себя все божественные качества, особливую благодать и силу.

Это не значит, что европейцы заимствовали идею "божественности монарха" у Индии. Нет, эта идея есть древнее и универсальное достояние человечества. Ее древнейшая форма - власть отца как верховного властителя в делах семьи, быта, хозяйства и религии. Царь есть родоначальник семьи и клана, верховный жрец, верховный судья, верховный властитель. У диких племен царем становится волшебник или колдун, сносящийся с богами<<61>>: религиозный авторитет дает светскую власть. Фюстель де Куланж<<62>> пишет: "Всякий, оказавший большую услугу гражданской общине, начиная с того, кто положил ей основание, до того, кто даровал ей победу или улучшил ее законы, - всякий становится для нее богом"; для этого "достаточно было живо поразить воображение своих современников и сделаться предметом народного предания, чтобы стать героем, т. е. могущественным мертвецом, чья охрана желательна, а гнев страшен". Это "вожди страны", о которых Пифия сказала Солону: "чти служением вождей страны, усопших, обитающих под землей". Понятия "отца", "родоначальника", "жреца", "героя" и "бога" как бы срастаются воедино до неразличимости.

Монархическое правосознание веками вынашивает эту уверенность, что между монархом и Божеством имеется особая, преимущественная связь, которой нет между простым человеком и Богом. Эта связь делает царя субстанционально-божественным и возлагает на него призвание показать и действительно утвердить эту божественность в жизни. Поэтому народы поклоняются Царю не только как Отцу, в коем сосредоточилась преемственно вся власть предков, не только как повелителю, верховному судье и жрецу, но и как воплотившейся частице Божества. Связанный настолько с Богом, он и должен был быть первым и верховным жрецом, ближайшим к Богу посредником между ним и человеком. Так, древний Восток полон веры в сущую божественность царей и всегда готов воздать им божеские, полубожеские или богоравные почести. При появлении царя люди Востока падают на землю, укрывая свое лицо, или же отвертываются, становясь к нему спиной, ибо не смеют взирать. Прескотт в своем "Завоевании Перу" рассказывает, что знатнейшие вельможи перуанские, являясь к уже взятому в плен перуанскому царю, инке Атагуальпе, снимали с ног обувь (как магометане в мечети) и надевали на спину ношу в знак уважения (подобно пилигримам).

Связанный особливо с Богом, царь должен быть первым и верховным жрецом, ближайшим к Богу посредником между Богом и человеком. Фараон Аменхотеп IV, прославленный реформатор египетской религии, утверждал прямо свое богосыновство ("Твой сын, происшедший из Твоего тела", "я есмь часть Тебя")<<63>>. О Втором древнеримском царе, о Нуме Помпилии, Тит Ливий рассказывает, что он исполнял большую часть жреческих обязанностей, но, предвидя, что его преемники, вынужденные вести частые войны, не всегда будут в состоянии заведовать жертвоприношениями, учредил верховных жрецов, которые заменяли бы царя на случай отсутствия его из Рима<<64>>. Фюстель де Куланж обобщает: "римское жречество было как бы выделением из первоначальной царской власти"; "главнейшею обязанностью царя было совершение религиозных церемоний; один древний царь Сикиона был лишен своего сана потому, что, осквернив свои руки убийством, он не мог быть царем"<<65>>. Отсюда

глубокомысленный историк делает дальнейший вывод: в древних гражданских общинах цари были установлены не силой, не оружием, не честолюбием, а верой и религией. Аристотель прямо утверждает, что власть родилась из культа, и притом из культа очага. В этом смысле и Пиндар называет царей священными (*basileis ieroi*). В царе видели если не совершенного бога, то по крайней мере "человека, наиболее властного утолить гнев богов, человека, без помощи которого никакая молитва не была действительна, никакая жертва не принималась" <<66>>. В связи с этим Страбон и Атены отмечают, что позднее, когда республики низвергли царей, царские роды не только не изгонялись, но им продолжали воздавать почет и оставляли за ними название и знаки царского достоинства.

Римляне императорской эпохи считали, что императору вообще причитается "обожествление" и что обожествленный император "тотчас же делается своего рода богом, предстоящим и телесным, которому подобает всяческое поклонение": он "священно-свят" (*sacro-sanctus*), происходит от богов и стоит под их покровительством; даже занятия его "священны". Именно поэтому Гораций объявил Августа "заместителем бога", а потом это повторил и Плиний Младший. На памятниках императоров писали: "*inter deos receptus est*" <<\*23>> <<67>>. Император почитался как "*dominus ac deus poster*" <<\*24>>, как "*praeseus et corporalis deus*" <<\*25>> <<68>>. Юлий Цезарь был обожествлен при жизни, имел особый храм и особого жреца в лице Антония, который впоследствии сам объявил себя богом <<69>>. Светоний рассказывает, что Юлий Цезарь сам учреждал себе высшие религиозные почести: так, его статуя возилась в экипаже для богов и помещалась среди статуй богов; он имел свои храмы и свои алтари <<70>>. Октавиан Август тщетно отказывался от таких почестей в Риме, допуская их только в провинции <<71>>. Нерон обожествил свою маленькую дочь (*diva virgo*) после ее смерти и свою жену Пoppею, которую он сам убил пинком ноги; потом он стал казнить виновных, не почитавших ее <<72>>. Восток обожествлял чуть не всякого правителя: обожествлен был Рамзес Великий, обожествлен был Митридат, царь Понта ("бог-отец, бог-спаситель"), обожествлены были все императоры после Юлия Цезаря <<73>>. Даже император Адриан позволял льстивым грекам боготворить его и наполнил храм Зевса своими статуями <<74>>. Клеопатра славилась как великая богиня Египта, Мессалина прославилась как воплощение Цереры, Пoppея - как Юнона <<75>>.

Поэт Манилий считал, что человек имеет особую силу и власть "делать богов", а Валерий Максим прямо выговорил: "*deus reliquis acserimus, Gaesares dedimus*" ("прочих богов мы приемлем, цезарей мы создаем"). Калигула и Домициан прямо требовали своего обожествления <<76>> чернь считала Цезарей обычными богами и ждала от них "явлений", "сновидений" и чудес <<77>>. А на Востоке даже все римские проконсулы имели свои алтари <<78>>.

Что касается жреческого достоинства царя, то оно не исчезало в истории. Буассье отмечает: "До Константина римский император был бесспорным главою национальной религии. Большие жреческие коллегии были в его распоряжении, и мы видим из сохранившихся протоколов их собраний, как, например, у Арвальских Братьев, что они были заняты исключительно молитвами о нем. В качестве верховного жреца он наблюдал за исполнением всех обрядов, и так как в то время не было в гражданской или политической жизни ни одного акта, который не сопровождался бы религиозной церемонией, то его власть простиралась всюду. Сделавшись христианином, Константин не отказывается от этого права. Он сохранил титул верховного жреца" <<79>> и принимал храмы в свою честь, что ему было облегчено тем, что он крестился только за месяц перед смертью <<80>>.

Итак, вот тысячелетняя традиция: царь есть верховный священник и вероучитель, и притом потому, что в нем самом (в том или ином смысле) живет божественное начало. Отсюда общая уверенность, что в делах культа монарх наиболее компетентен, ибо он сам есть особого рода бог; отсюда же и божеские почести императорам, за отвержение которых христиане шли на мучение и смерть. У поэта Пруденция судья, убеждая

христианского исповедника, говорит, что хороший подданный должен верить, что лучшая религия есть та, которую исповедует император: "quod princeps colit ut colamus omnes". Позднее это формулировалось так: "cujus regio, ejus religio", т. е. исповедание монарха обязательно для всех его подданных.

В Византии слагается целая доктрина. Знаменитый канонист Вальсамон (XII век) утверждает, что византийский император обладает епископским достоинством, он назначает и судит патриарха и имеет власть над Церковью. Димитрий Хаматиан, болгарский архиепископ (начало XIII века), развивая эту мысль, пишет: "Царство установлено Богом... Царь равноценен с Богом"... Солунский архиепископ Симеон (начало XV века) пишет, что царь причащается в алтаре потому, что он помазан на царство, он владыка Церкви и в качестве благочестивого приписан к духовенству. Оба святы - и царь, и архиерей: царь - помазанием; архиерей - рукоположением<<81>>. И в самом деле, византийские цари, как своего рода верховные архиепископы, устанавливали вероучение по своему усмотрению, вмешивались во все мелочи церковной жизни, распоряжались церковными кафедрами, превращали патриарха в покорного чиновника, ссылали и казнили религиозно непослушных подданных. Так, император Юстиниан издал указ, в котором предавал анафеме религиозное учение, даже нееретическое, и писателей, признанных православными на третьем Вселенском Соборе. Император Ираклий ввел новое вероучение, и притом ради политической цели: делая уступку монофизитам, он провозгласил, что у Христа было две природы, но только одна воля. Император Констанций по своему произволу собирал и распускал соборы; "моя воля - канон", - заявил он на Миланском Соборе в 355 году<<82>>. Императоры иконоборцы резко подчеркивали свои жреческие права. Лев III в своем сборнике законов прямо присваивает себе ту же власть, что и римские папы<<83>>. Другие, вроде Исаака Ангела, шли еще дальше и утверждали, что между царем и Богом нет расстояния. А когда императрица Ирина изменнически ослепила своего сына, императора Константина (конец VII века), то современники писали: "и померкло солнце, и в течение 17 дней не видели лучей его, и все говорили, что вследствие ослепления Царя солнце перестало испускать лучи"<<84>>.

Тертуллиан отмечает (Apol. 28), что Цезаря более уважают и более боятся, чем Юпитера<<85>>. И действительно, при христианских императорах говорится об их "божественном жилище", о "священной комнате" монарха: его решения называются "оракулами", а подданные, ищущие у него правосудия, обращаются "к его алтарям"<<86>>. Тертуллиан называет почтение к царям - "религией второго величества"<<87>>; а Григорий Назианзин пишет, обращаясь к монархам, что "Господь сам управлял небесными делами, поделил управление земными делами с монархами, а потому они призваны быть богами своих подданных"<<88>>. Впоследствии Боссюэ скажет об императорах: "Ils sont des dieux et participent en quelque façon à l'indépendance divine<<\*26>> <<89>>.

Подобные воззрения распространены и на Западе. Древние германские короли всегда имели жреческие права и возводили свое происхождение к богу Одину. В истории Беды читаем: "Vodan, de cujus stirpe multarum provinciarum regium genus originem duxit"<<\*27>>... Христианство очистило и облагородило это учение, но идея "царя Божией милостью" не угасла. В песне о Роланде император имеет внешность жреца, жесты, слова и приемы епископа; он благословляет армию как папа; и послов своих он благословляет "именем Христа и своим" ("A l'Jhesu e a l'mien"). Епископ Катвильф пишет Карлу Великому: "Tu es in vice illius (Dei). ...Et episcopus est in secundo loco, in vice Christi tanquani", т. е. император замещает Бога-Отца, а епископ занимает лишь второе место, замещая как бы Христа<<90>>...

Вот династия Капетингов (XI век) и король Роберт Благочестивый, который является главою франконской церкви и для которого монах Гуго Флерийский требует сана "верховного епископа". Король не только следит за исполнением канонов, но и за установлением вероучения; он созывает соборы, судит и сожигает еретиков. Королевский

род считается как бы божественным; королевская власть имеет священный характер; династия считается богоизбранной и даже индивидуальное помазание на царство необязательно<<91>>. Тому же королю Роберту Фюльбер Шартрский писал "Sancte pater"<<\*28>>, "Tua sanctitas"<<\*29>> <<92>>. Короли считались представителями Бога на земле<<93>>. Еще в Lex Langobardorum (Edictus Rothari. 2) писалось: "Corda regum in manum Dei credimus esse"<<\*30>>, и, например, приговор к смертной казни, произнесенный королем, должен был быть приведен в исполнение без вины и ответственности для казнящего. Уже с XIV века в Германии изображают Бога-Отца в облики Императора, в Англии и во Франции в виде короля.

"Нет сомнения, - пишет Людовик XIV в поучении дофину, - что государи в известных действиях своих являются, так сказать, заместителями Бога и потому как бы причастны Его всеведению и Его всемогуществу; так, например, в оценке способности людей, в распределении должностей и в даровании милости"<<94>>. Подтверждается ли это исторически - это другой вопрос; но по сравнению с претензиями Калигулы и Домициана эти слова свидетельствуют о значительном отрезвении.

Поучительно, как это обожествление царей переживалось в России. Так, у Иосифа Волоцкого (1440-1515) читаем: "Царь убо естеством подобен есть всем человеком, властью же подобен есть вышнему Богу"<<95>>. "Князь, любя суд и правду, небо есть земное и душа его престол Христов"; "Бог в себе место избра вас на земли и на своем престоле, взнес, посади"<<96>>. "Слышите цари и князи и разумеите, яко от Бога дана бысть держава вам, яко слуги Божии есте...", "вы же... убойтесь серпа небесного и не давайте воля зло творящим человеком<<97>>. В этих указаниях Иосиф Волоцкий подходит к такой грани, которую люди без богословского образования соблюсти не могли. Герберштейн (1486-1566) рассказывает<<98>>: советники Василия III "открыто признают, что воля князя есть воля Бога и что князь делает, то делает по воле Божией. Поэтому они называют его Божиим ключником, постельником и верят, что он исполнитель воли Божией". Иоанн Грозный, сын Василия III, как будто призван был научить русских людей более трезвому, тонкому и глубокому пониманию царской власти. "Домострой" настаивает: "Царя бойся и служи ему верою... яко самому Богу и во всем повинуйся ему; аще земному Царю правдою служити и боитися его, тако научитися и Небесного Царя боятися..." Своеобразное понимание находим мы в устах Петра Великого. В морскую бурю, в шлюпке он говорил оробевшим матросам: "Чего боитесь? Царя везете! С нами Бог"<<99>>. Historики запомнили его застольные тосты: "За здравие тех, кто любит Бога, меня и отечество". В этом нельзя видеть обожествления: в обращении к матросам звучит вера в богохранимость Царя; в тостах - сознание себя слугою Божьего дела, отвечающим перед Богом за отечество... Совсем иначе воспринималось все это простым народом. Ключевский рассказывает, что в 1767 году при народных встречах императрицы Екатерины на Волге "в Казани люди готовы были постелить себя вместо ковра под ее ноги, а в одном месте в церкви мужики приняли свечи подавать, прося поставить их перед матушкой царицей"<<100>>.

На Востоке и на Западе масса верила в священность царской особы настолько, что ждала от монарха исцеления больных. Так, по Плутарху<<101>>, эфирский царь Пирр исцелял больных прикосновением. Historики Рима, и в том числе Светоний и Тацит, рассказывают о чуде, которое император Веспасиан совершил якобы по указанию бога Сераписа в Александрии в 71 году: в самый момент его фактического воцарения, когда он сам еще сомневался в нем, слепой и сухорукий прикоснулись к нему и получили полное исцеление. Спартиан сообщает подобное этому об императоре Адриане. Лауренций рассказывает такое же о короле Хлодвиге, исцелившем своего офицера от золотухи простым прикосновением (509).<<102>> Этот дар последовательно переходил из династии в династию от Меровингов к Каролингам, а потом к Капетингам<<103>>. Следы этой веры отмечаются еще в XIX веке: так, Людовик XVIII совершил тотчас же после своего коронавания несколько исцелений<<104>>.

Из всего этого явствует, что идея монархии "Божией милостью" есть идея древняя, как сама история человечества, и что она пережила существенную эволюцию в правосознании человечества. Сохраняя свою основу, она менялась и в обосновании, и в объеме, и в выводах.

1. Древнейшее субстанциальное и мифологическое обоснование дано в законах Ману: царь сотворен из частиц божественных субстанций.

2. Царь от Бога потому, что ему присуще особое боговѣдение и боговѣдение (Аменхотеп IV в Египте, греко-римские цари-жрецы);

3. Или потому, что царю сообщается особая благодать по управлению в особом акте помазания (идея еврейской Библии, принятая потом в православной Византии и на католическом Западе);

4. Или потому, что образ царского Величества есть земное подобие Божьего Величия на небесах (Боссюэ, Иосиф Волоцкий);

5. Или потому, что царская власть, как и всякая благая государственная власть, установлена Богом и служит Его делу (апостол Павел и отцы Церкви);

6. Или потому, что царь есть представитель или наместник Бога на земле (франконская идеология X и XI веков);

7. Или потому, что "сердце царя" (то, что римляне называли "noumen imperatoris") таинственно находится "в руке Божией" (Lex Langobardorum; ср. у Герберштейна о России);

8. Или же, наконец, потому, что царь получает свои права на путях иррациональных, естественных, вне человеческого произвола совершающихся - по наследству, по рождению, по жребию, от природы: он посылается от Бога, предназначается милостию Божией...

Так или иначе, но к самой сущности монархического правосознания принадлежит идея о том, что царь есть особа священная, особенно связанная с Богом и что именно это свойство его является источником его чрезвычайных полномочий, а также основой чрезвычайных требований, предъявляемых к нему, его чрезвычайных обязанностей и его чрезвычайной ответственности.

Именно поэтому он призван - искать и строить в себе праведное и сильное правосознание. Эти обязанности суть прежде всего обязанности внутреннего духовного делания и самовоспитания; они должны осмысливаться как религиозные.

Понятно, что в республиканском правосознании все это отсутствует. Из двух исходов - персонифицировать государственную власть и соответственно вознести властвующую персону в полномочиях и обременить ее величайшими обязанностями, или же снять совсем эту проблему государственного сосредоточения, разгрузить власть, рассосать это бремя и заменить царя чиновником, с малыми полномочиями, - республиканское правосознание предпочитает решительно и бесповоротно второй путь. Ему нужна не персона, а рядовой политик из обывателей, избираемый на срок, ответственный перед парламентом и народом, по возможности удовлетворяющий элементарным требованиям гражданской чести, во всяком случае публично не слишком опороченный; ему нужно знать, что этот срочный чиновник старается руководствоваться доступными ему соображениями государственной пользы и что против его возможных злоупотреблений имеются известные гарантии. За пределами этого республиканское правосознание не терпит никакого особого значения у главы государства, и то, что происходит в монархическом правосознании, не находит себе у него ни сочувствия, ни даже отдаленного понимания. Вся эта монархическая концепция и традиция кажется республиканцу собранием предрассудков, устарелых суеверий, унижительных чудачеств, а может быть, даже проявлением политической глупости, наивности, темноты или еще хуже - корыстной симуляции. Со всем этим республиканец не может мириться: при столкновении он пытается с этим бороться, как с опасным и вредным душевным

состоянием; в лучшем случае он идет мимо всего этого, презрительно и опасливо пожимая плечами...

#### Глава четвертая ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ - 2

1

Если попытаться свести указанные мною особенности монархического правосознания к единой и простой формуле, то можно было бы сказать, что симпатии и воззрения монархиста склоняются к иррационально-интуитивному восприятию жизни и политики, а симпатии и воззрения республиканца - к сознательно-рассудочному толкованию мира и государственности. Это обнаруживается в целом ряде последствий и выводов.

Так, монархическому правосознанию присуща склонность созерцать историю народов и природу человека как нечто Богом даруемое и данное, как цепь событий Богом установленную и ведóмую. Монархическое правосознание есть вообще не столько "сознание", сколько "чувство", духовно-инстинктивное восприятие или "ощущение", подъемлющееся из глубины человеческой души; оно укоренено в укладе инстинктивной духовности - веры, любви, совести, художества, чувства ответственности, привычной дисциплины; оно как бы вращено в эту сферу и вырастает из нее. Мало того, оно воспринимает и самого субъекта, носителя и осуществителя этого правосознания, как некое иррационально-духовное творение Бога, как индивидуальное порождение мира, природы и истории. Человеку с таким правосознанием нельзя ни "втолковать", ни внушить, что человек есть объект произвола или продукт случайностей, ибо он чувствует себя естественным, органическим порождением бого-созданной природы, в которой все закономерно, но не по законам слепой или материальной причинности, а по законам внутренней, Богом ведóмой целесообразности.

Монархическое правосознание не склонно верить в случай, да еще в слепой случай. И судьба для него не игра хаоса и не неизбежный фатум, и не разворачивание механических причин и следствий, а дело Провидения. Именно отсюда у монархистов вера в "природного" или "прирожденного" Царя. Иррационально-естественный процесс человеческого рождения ("наследование! наследник!") есть для них не случайный факт, а органическое, т. е. таинственно-целесообразное и руководимое Провидением событие. Из двух толкований - "все зависит от человеческого произволения, которое выше судьбы и природы" и "все возникает из руководимого Богом органически-иррационального, внутренне-целесообразного процесса", - монархист склоняется ко второму, а республиканцу гораздо ближе и понятнее первое.

Духовно-органическое толкование "естества" связано исторически с целым рядом древних обычаев, восходящих к седой старине. Самый процесс человеческого выбора, усилия, одоления люди древности осмысливали духовно и религиозно. Таков, например, обычай древних "поединков", средневековых "ордалий" <<\*31>> или русского "поля" <<\*32>>. Напрасно позднейший рационализм изображает этот "суд Божий" как попытку найти правоту посредством грубой силы или случайной удачи. На самом деле здесь преподносилось людям законное и богоугодное первенство духа над силой, религиозное искание правоты по образцу Гектора с Аяксом в Илиаде (песнь VII, 178-180) или по образцу Давида и Голиафа. К Богу обращались сами борющиеся и до поединка и во время поединка; нередко и окружающий народ молился вслух о ниспослании победы не сильнейшему, а правому; и нередко неправый силач оказывался сраженным и поверженным не столько благодаря силе противника, сколько через смятение его злой совести и благодаря подъему доброй совести у победителя: это было своего рода всенародное заклятие зла и молитвенное одобрение добра, от которого правый окрылялся, а неправый испытывал религиозно вызванный паралич воли.

В этом же направлении религиозное правосознание осмысливает и начало жребия (апелляция не к случаю, а к Провидению!) и начало выборов, когда оно к ним обращается. Имеется в виду "Боговедóмость" голосующих наподобие голосования догматов на Вселенских Соборах, голосования, которое секуляризованному республиканцу всегда будет казаться безнадежной попыткой найти откровенную истину по случайному большинству человеческих мнений, а для верующего человека останется явлением божественного вдохновения и молитвенного озарения.

Именно в этой связи можно было бы установить, что монархическое правосознание, испытывающее жизненную силу духа в пределах собственного инстинкта, имеет все предпосылки для веры в чудо: ибо если "мой" слабый дух способен к преодолению и подчинению себе моего животного инстинкта (что само по себе уже чудесно!), то как же не допустить мне, что Дух Божий ведаёт высшие пути и судьбы и держит в своей власти всю природу - и внешнюю, и внутренне-человеческую? Все в жизни таинственно-сложно; все в мире ведётся Провидением. И то, что слепым людям кажется "невозможным" или "чудесным", есть естественно-сверхъестественное проявление Божией воли... Понятно, что республиканскому правосознанию чужд весь этот комплекс идей и чувствований как "мистически-фантастический" пережиток и как проявление "реакционной непросвещенности"...

Вот почему можно сказать, что религиозно укорененное правосознание будет скорее склоняться к монархической форме, а секуляризованное и безрелигиозное правосознание - к республиканской (индивидуальные исключения всегда остаются возможными). Для республиканского правосознания характерна вера в нестесненное человеческое изволение, которое осмысливается как начало, стоящее выше "судьбы" и выше "природы", и которое не связано ни с каким религиозным поклонением. Республиканцу кажется странным и неумным - решать вопрос о житейской и политической пользе в зависимости от "слепого случая". Жребий есть случай. Рождение человека от человека есть дело политически безразличное, биологически объяснимое, но не могущее притязать ни на какое особенное связующее значение; во всяком случае, здесь нет целесообразного политического изволения. Сколько раз, спросит республиканец, у хорошего монарха рождались плохие или негодные сыновья, - глупые, отсталые, совершенно не интересующиеся государственным делом и неспособные к нему? Допустим, что отец был хорошим правителем; но разве государственные способности обеспеченно передаются по наследству, и притом всегда старшему сыну? И можно ли судьбу целого народа ставить в зависимость от такого несчастного случая (рождение неудачного сына у государя), да еще закреплять эту судьбу пожизненностью, безответственностью, непосильною для молодого человека уполномоченностью, с совершенно необоснованною надеждою на то, что от этого неудачного наследника родится впоследствии более удачный старший сын? И вот весь династический вопрос, бесспорно разрешаемый в глазах монархиста идеями Провидения и боговедóмого естества, оказывается для республиканца проявлением необоснованного "предрассудка", продуктом мистически искаженной слабости политического суждения. Тогда республиканец ставит недоумевающий вопрос: "Вот имярек - не глуп и не изувер: как же он может быть монархистом?!"...

Поучительно отметить республиканский подход к этой проблеме у такого выдающегося короля, как Фридрих Великий прусский: "Случай, господствующий над человеческой судьбой, решает вопрос первородства. Но оттого, что человек - король, он еще не становится лучше других" (завещание от 8 января 1769 года). Во всяком случае, Вольтер и Дидро были бы довольны таким воззрением, а революционная Декларация Прав могла бы только добавить: "ибо люди рождаются равными"...

В ближайшей связи с этим стоит склонность монархического правосознания к семейственному созерцанию государства и к отеческому осмысливанию верховной государственной власти. В этом оно проникнуто древним, доисторическим духом.

Еще в Одиссее мы видим, что "вожди семей носят" пышное имя "владык" (anactes) и "царей" (basileis); афиняне первобытной эпохи называли "царем" вождя или главу рода (genos), а римские клиенты удержали для главы рода название "rex" (царь). Итака была маленьким островом, но имела много подобных царей<<105>>. Отец, домовладыка - есть первый "единовластник" (мон-арх) в истории. Слово "отец" везде, и у нас в России, характеризует всякого почтенного, уважаемого, авторитетного мужчину: этим выражается идея могущества, власти, величия, относимая в религиозном созерцании и к Богу.

Где-то в самых корнях своих монархическое правосознание патриархально, "фамилиарно", может быть, даже "патримониально"; оно склонно переносить строй семьи в государство, а строй монархии в семью. Пока люди будут жить семьями и притом единобрачными (моногамия!) и особенно едино-отеческими (моноандрия!), до тех пор в человеческой душе будут вновь и вновь оживать от самой природы вложенные в нее монархические тяготения.

Надо признать, что Платон, желавший растворить семью в коллективе, по принципу "у друзей все общее", подрывал тем самым один из главных источников монархического правосознания. Подобно этому, всякий коммунизм, распространяемый на семью и отменяющий ее, - имеет антимонархическую тенденцию. Для республиканского же правосознания патриархально-семейственное восприятие государства и верховной власти чуждо или даже неприемлемо, если не считаться с античной формой семьи. Мало того, самая республиканская идея семьи не тяготеет к признанию преимущественного ранга родителей. И это естественно, ибо республиканская идея "равенства" проникает незаметно и в семейный строй.

Республиканское правосознание постепенно теряет идею родовой собственности, чувство кровной связи через общего предка. Оно несет с собой идею кровно-несвязанной совокупности, идею множества "рядом жителей", человеческих "атомов", которым должны быть обеспечены прежде всего "свобода", потом "равенство" и наконец столько "братства", сколько его останется после расщепляющей свободы и после всеснижающего равенства. В сущности говоря, это "братство" всегда остается пустым словом, слабым и мертвым отголоском родового семейного строя, когда о братстве говорила единая кровь общего происхождения. Рядом жительствующие атомы никогда не станут братьями, менее всего при социализме или коммунизме. Республиканство есть такой уклад гражданственности, в котором водворяется не братство, а, по меткому выражению Константина Леонтьева, уравнительное всесмещение.

Уже в древней истории именно отмирание родовой собственности и ослабление патриархальной стихии (Греция! Рим!) отодвигало значение царей и постепенно приводило к республиканскому строю. И обратно: именно в тех республиках, где начало семьи, отеческой власти, рода, родовитости и генеалогии сохранялось, слагалась аристократическая республика с возможностью неожиданной реставрации монархической формы в том или ином виде (вспомним эпоху Возрождения в Италии, и в частности, правление Медичи во Флоренции - этих наследственных, некоронованных республиканских царей из купеческой знати).

3

Характерное и устойчивое отличие монархического правосознания - это, далее, культура ранга в человеческих отношениях вообще и в государственном строительстве в частности.

Когда мы говорим о ранге, то мы отнюдь не должны представлять себе условное, искусственное или принудительное преимущество одного человека или одного сословия перед другим. Ранг есть прежде всего вопрос качества, и притом подлинного качества;

признание ранга есть потребность искать и находить качественное преимущество, придавать ему полное значение, уступать ему жизненную дорогу и осуществлять это не только в повседневной, но и в государственной жизни. Напрасно поверхностные политики республиканского образа мыслей сводят идею ранга к тому, что в монархиях образуются "неподвижные сословия", чуть ли не "касты", во всяком случае правящие и богатые слои, в которые "совсем нет доступа" или доступ в которые труден лицам других не "привилегированных" слоев или сословий. Исторически так бывает, но совсем не только в монархиях, а и в республиках - то аристократических, то грубо-партийных. Зато история монархии знает и совершенно обратное. Именно волевые и созидающие государи обычно обнаруживают желание находить повсюду качественных людей, обладающих опытом, силой суждения, честностью, прозорливостью и волевой энергией. История рассказывает нам и о явлениях болезненных преувеличений в борьбе между монархом и окружающей его аристократией, когда монарх бывал склонен не только освободиться от давления и от интриг привилегированного сословия, но принимался почти за искоренение его (римские цезари, Людовик XI во Франции, Иоанн Грозный в России). Но наряду с этим мы знаем государей, искавших мудрого совета и государственно способных людей совершенно независимо от их происхождения. Именно таким рисует немецкий историк Ранке французского короля Генриха IV. То же воззрение мы видим в особенности у молодого Людовика XIV, который уже в детских годах испытал, к чему способна фрондирующая аристократия и чего можно ждать от нее: он научился не полагаться на родовитость и на титулы, а искать способных (что для него было равносильно - "послушных") людей и выдвигать их в управлении государством. Именно в силу этого ему удалось найти Кольбера, сына простого купца. К сожалению, впоследствии он изменил этому правилу под влиянием непомерно развившегося в нем тщеславия<<106>>. Вспомним еще образ действий одного из величайших монархов всемирной истории - Петра Великого, у которого уличный пирожник Александр Меньшиков стоял рядом с графом Шереметевым, а заезжие иноземцы Лефорт и Брюс служили государству рядом с князьями Репниным и Яковом Долгоруким. Фридрих II прямо выговаривал: "великий человек не нуждается в предках" (ср. запись его от 1759 года): "высокое рождение есть химера, если к нему не присоединяется заслуга" (запись 1751 года).

Поучительно вспомнить в этой связи политическое правило, проводившееся одинаково Людовиком XIV<<107>> и Фридрихом Великим: не привлекать к делам управления принцев крови. Фридрих выражал это так: "Лучшее обхождение с принцами крови состоит в том, чтобы осыпать их внешним почетом, но удалять от государственных дел, доверяя им военное командование только при полной уверенности в их таланте и характере" (Политическое завещание 1752 года). Мотивом и основанием в пользу такого образа действия была, по-видимому, невозможность возлагать настоящую политическую и деловую ответственность на принцев крови: приходилось бы покрывать их упущения и мириться с их неспособностью, а государственное дело страдало бы от этого.

Итак, говоря о "ранге", я имею в виду качественный ранг людей и способность радоваться ему, а не интриговать против него. Эта идея была раскрыта с особенной глубиной и силой у Карлейля<<108>>. Этот глубокомысленный историк совершенно прав, придавая идее "ранга" - религиозный смысл. Ибо высшее качество (Совершенство!) и абсолютный ранг человека научается созерцать и чтить именно в Боге. Нет ничего важнее в воспитании человеческого духовного характера, как именно сообщение человеку умения ставить себя перед лицом Божием и измерять свое несовершенство - Его совершенством. Это сообщает душе смирение, трезвение, свободу от зависти и способность радоваться верному качеству всюду, где оно обнаруживается. Где этого нет, там царит зависть и интрига. Но именно в этом великая воспитательная сила монастыря, армии, школы и монархии. Где угасает или вырождается чувство объективного ранга, там монархия незаметно слабеет и республиканизируется.

Люди от природы и в духе - не равны друг другу, и уравнивать их никогда не удастся. Этому противостоит известный республиканский предрассудок, согласно которому люди рождаются равными и от природы равноценными и равноправными существами. Напротив, монархическое правосознание склоняется к признанию того, что люди и перед лицом Божиим и от природы разнокачественны, разноценны и потому, естественно, должны быть не равны в своих правах.

Не следует думать, будто республиканский эгалитаризм ведет свое начало от французской революции, и в частности, от ее пресловутой "Декларации прав человека и гражданина". Тяготение к равенству есть одна из основных человеческих слабостей, которая обнаруживалась еще в древности, и иногда притом в самых острых и разрушительных формах. В свое время идея "равенства" получила мощный толчок и поддержку от христианского воззрения на бессмертие человеческой души, на веру и Благодать, на добродетель и страшный суд, ибо это воззрение выдвигало на первый план именно те пункты, в которых люди как бы "уравниваются" перед лицом Божиим. Но уже Апостол Павел предупреждал верующих против эгалитаризма: "звезда от звезды разнится в славе" (1 Кор 15:39-44): именно "равенство" людей перед лицом Божиим обнаруживает их неравенство в деле подлинного христианского качества. Возможно, что влияние христианства укрепило бы эгалитарное тяготение массы, если бы Апостолы и отцы Церкви не выдвинули новое учение о новом неравенстве и не установили необходимости земного ранга, а также учения о нарочитой призванности и помазанности царей.

Человек всегда и во все эпохи искал преимуществ для себя и, предаваясь этой претензии, создавал химеру "равенства людей от природы" (как ни парадоксально это звучит). Вообще говоря, человеку свойственны две различные интенциональные установки, создающие два различных человеческих типа. Одни сосредоточивают свое внимание и свое сочувствие на сходном у людей, признают это сходное существенным и выдвигают требование - сходное должно быть политически и хозяйственно уравнено. Другие сосредоточивают свое внимание и сочувствие на несходном, на различном у людей, признают несходное существенным и настаивают на том, что справедливость требует различной квалификации и неравного обхождения с теми, которые по существу своему различны и разноценны.

Понятно, что дело не в "сходстве" и не в "различии", а в духовно-существенном сходстве и различии и, далее, в политически-существенном различии и сходстве. И вот, история показывает нам, что духовно- и политически-несущественные различия слишком часто выдаются за существенные, или, что то же самое, малосущественные различия политически переоцениваются и принимаются за единственно-существенные. Это неверное, непредметное разрешение вопроса открывает настежь двери безудержным эгалитаристам; таковы, например, все политические уклады, построенные на одном имущественном цензе (правление богатых) или на кровном происхождении (правление сословно-кастовое) и т. д.

На самом же деле справедливость требует не "равенства" и не "привилегий", а предметного уравнивания и предметно-справедливых привилегий. Справедливо, чтобы люди, совершившие однородные преступления, одинаково привлекались к суду, чтобы люди с одинаковым доходом платили одинаковый подоходный налог. И в то же время справедливо, чтобы беременные женщины имели известные привилегии; чтобы преступники и душевнобольные были лишены права голоса; чтобы государственные должности давались талантливым, умным и честным людям и т. д. Привилегии должны быть предметно обоснованны. Необходимо умение верно, жизненно и творчески распределять ранг. Ибо непредметные привилегии компрометируют начало справедливого неравенства и пробуждают в душах склонность не к справедливости, которую Платон называл "распределяющей", а к несправедливому, непредметному уравниванию всех во всем.

Это можно было бы выразить так: безудержный эгалитаризм, враждебный всякому рангу, есть дитя непредметного ранга.

И вот, республиканское правосознание сосредоточивается на человеческих сходствах, особенно на сходствах в потребностях, в эгоистическом интересе, в требовании личной свободы, политической свободы и имущественного состояния. Эти сходные потребности и претензии оно признает существенными и требует для людей равенства: чем больше равенства в правах и в социальных возможностях, тем якобы лучше, тем справедливее данный строй. Напротив, монархическое правосознание сосредоточивается на человеческих несходствах, особенно на различиях рождения, наследственности, воспитания, образования, воли и одаренности. Эти различия оно признает за существенные и видит справедливость в соответствующем неравенстве; существующие привилегии лучше не отменять, а поддерживать.

У республиканского правосознания всегда имеется предубеждение против всякого неравенства, особенно связанного с рождением, наследственным правопреемником, воспитанием, образованием, талантом и волею. А у монархического правосознания обычно имеется предубеждение против всех уравнивательных мероприятий, особенно связанных с потребностями, вкусами, с политическим полноправием и имущественным состоянием. Республиканское правосознание обычно бывает склонно дать право голоса женщинам, понизить политический возрастной ценз, обложить высокой пошлиной наследства, отменить майораты, оспорить всякие права и преимущества короны, ввести избираемость, срочность и ответственность для главы государства, отменить гвардию, отказать в субсидии дворянскому интернату, отделить Церковь от государства, экспроприировать имущественные верхи, ввести совместное обучение мальчиков и девочек, открыть женщинам доступ в адвокатуру и парламент и т. д. Зато монархическое правосознание готово упорно оспаривать наличность тех "одинаковостей", на которые при этом ссылается республиканец: оно будет настаивать на том, что женщину не следует вовлекать во все страсти, пошлости и интриги политической жизни, ибо женщина имеет лучшие и интимнейшие задания, драгоценные для государства; оно будет указывать на необоснованность и опасность всеобщего избирательного права, ввиду обилия необразованных и глупых людей ("олухов", по выражению Карлейля); оно будет склоняться к выдвижению людей более зрелого возраста, более независимых в имущественном отношении, более квалифицированных в смысле политического опыта и честности; оно будет поддерживать религиозное единение с Церковью, образовательный ценз, гвардию, майораты; оно всегда предпочтет независимого, наследственного, пожизненного главу государства и так далее...

Все это примеры, и не более; но эти примеры показывают основную установку правосознания; склонность, образ мыслей, критерии оценки. Монархическое правосознание остро чувствует разнокачественность, разноценность, своеобразие людей; и в этом оно приближается к аристократическому республиканству, не желающему, впрочем, сделать последовательный вывод применительно к главе государства.

Для монархиста же монарх есть аксиоматическое явление правового и социального ранга, - земное признание и подтверждение первичного, основного и священного ранга, явленного в религии. Это-то и чувствуют обычно республиканцы, и потому они направляют свою энергию на борьбу с этой земною "мнимой божественностью" человека, стремясь сорвать, свалить, скомпрометировать и угасить у всех в правосознании это явление неоспоримого для монархиста священного государственного ранга. Для республиканцев - люди от природы "равны"; идея ранга шокирует и возмущает их. В естественное равенство людей веруют одинаково греческие софисты и Марк Юний Брут, французские якобинцы и русские социалистические партии. И наоборот: всякое доказательство того, что существует на свете предметное неравенство, что оно по справедливости требует и неравенства в правах - может быть встречено негодованием со стороны республиканцев; а всякое обоснование естественного ранга и

его культа может натолкнуться у них на прямую ненависть. Учение Аристотеля о "рабстве от природы" оттолкнет всякого эгалитариста: "раб от природы тот, кто причастен разуму лишь настолько, чтобы понимать (чужие) мысли, но не настолько, чтобы иметь (свои)"; он предназначен не к управлению государством, а к физическому труду<<109>>. Совершенно так же отвергнет эгалитарист и учение Томаса Карлейля.

Как не вспомнить мудрые и точные слова этого глубокомысленного историка: "Не может человек более печальным образом засвидетельствовать свое собственное ничтожество, как выказывая неверие в великого человека. Нет более печального симптома для людей известного поколения, чем подобная всеобщая слепота к духовной молнии, с одной верой лишь в кучу сухих безжизненных ветвей. Это - последнее слово неверия"... "Отыщите человека самого способного в данной стране, поставьте его так высоко, как только можете, неизменно чтите его, и вы получите вполне совершенное правительство; и никакой баллотировочный ящик, парламентское красноречие, голосование, конституционное учреждение, никакая вообще механика не сможет уже улучшить положение такой страны ни на одну йоту... Это был бы идеал конституции"... "Я утверждаю: укажите мне истинного Konning'a<<\*33>> или способного ("могущего") человека - и окажется, что он имеет божественное право надо мною"... "Все социальные процессы, какие только вы можете наблюдать в человечестве, ведут к одной цели (...), а именно: открыть своего Ableman (способного человека) и облечь его символами способности - величием, почитанием (как достойнейшего), саном короля, властелина или чем вам угодно, лишь бы он имел действительную возможность руководить людьми соответственно своей способности"<<110>>. В таких выражениях заключается прямой вызов всем безрелигиозным людям, всем эгалитаристам и республиканцам, который может вызвать в их среде только величайшее негодование. Но этот вызов должен быть еще сопоставлен со словами одного из отцов французской революции, того пробудителя республиканского правосознания, который провел сам три года при королевском дворе в Пруссии; я имею в виду Франсуа-Мари Вольтера: "Что касается до меня, то я думаю, что так как надо повиноваться... то лучше повиноваться породистому льву (un lion de bonne maison), который от рождения гораздо сильнее меня, чем двумстам крысам моего рода"<<111>>...

Итак: монархическое правосознание склонно культивировать ранг в ущерб равенству, а республиканское правосознание склонно культивировать равенство в ущерб рангу.

4

С этим связано еще одно отличие монархического правосознания от республиканского, которое должно быть отмечено и признано, однако без преувеличений. Именно монархическому правосознанию свойствен известный консервативный уклон, нередко совсем не свойственный республиканскому правосознанию. Монархия как строй имеет свои определенные традиции, на которых она покоится, которыми она дорожит и от которых неохотно отступает. Монархическое правосознание не склонно к скорому и легкому новаторству; напротив, оно склонно к выжиданию, к блюдению наличных законов; оно неохотно решается на радикальные реформы и, во всяком случае, берется за них только тогда, когда они назрели. Эта склонность беречь наличное, опасаться неизвестного нового, взвешивать его всесторонне и отклонять его, обусловлена, конечно, религиозными, родовыми и ранговыми основами монархического правосознания. Монархисту часто кажется, что неизвестное лучшее погубит имеющееся уже благо (ср. французскую поговорку "le mieux est l'ennemi du bien"; по-русски "от добра добра не ищут"); что лучше не разлаживать привычный порядок и не рисковать, не пускаться в политические приключения. Монархист хорошо понимает жизненную силу рутины, но именно поэтому он нередко способен вызывать в жизни застой, неподвижность и то, что республиканцы называют совсем неточно "реакцией"; ибо монархический консерватизм

требует соблюдения наличного и недоверия к новшествам, а совсем не "движения вспять"...

Напротив, республиканскому правосознанию, не связанному ни религиозными, ни родовыми, ни сословными, ни ранговыми мерилami, всякая реформа, благоприятствующая "свободе", уравниению и удовлетворению действительных или мнимых вожделиний простого народа, кажется естественной, подобающей и только напрасно задерживаемой "реакционерами". Новое не отпугивает республиканцев, а привлекает. Всякое движение влево (начиная от конфискации церковных имуществ и кончая социализмом) нередко кажется им сущим "усовершенствованием" жизни и социального устройства. Слова "прогресс", "гуманность", "свобода", "равенство" переживаются так, как если бы каждое из них выражало некую неоспоримую "аксиому" "добра" и "света". И если бы неумолимые реальности хозяйства, здоровья, порядка и культуры не ложились на весы здоровым и драгоценным жизненным балластом, то республиканское правосознание могло бы впасть в безудержную и беспочвенную "динамику" химерических реформ, все более приближающихся к анархии.

Однако ни консервативность монархического правосознания, ни новаторство республиканского - не следует ни преувеличивать, ни обобщать.

С одной стороны, политически зоркий и, главное, патриотически-бескорыстный монархист имеет достаточно оснований и побуждений для того, чтобы задумывать и проводить великие реформы. Исторически это не нуждается в доказательствах: достаточно вспомнить историю всех великих монархий, устройство и возвышение коих творилось, конечно, не республиканцами. Назовем хотя бы Ришелье, Мазарини и Кольбера в истории Франции; барона фон Штейна и Бисмарка из истории Германии; князя В. В. Голицына, А. Л. Ордина-Нащокина, сподвижников Петра Великого и Александра Второго, П. А. Столыпина в истории России. Но, конечно, главный источник прогресса в монархиях - это сами государи. Нет ничего нелепее и несправедливее, как утверждать, будто монархия означает реакцию, а республика - прогресс. Такое утверждение заставляет всегда поставить вопрос о самом утверждающем: сознательно ли он говорит неправду или является жертвой собственной необразованности? Ибо в действительности история давно уже имеет особый "пантеон" великих государей, которым их народы обязаны своим бытием, хозяйственным и культурным расцветом. Назовем здесь в виде высокого образца лишь немногих: из царей Македонии Александра Великого (356-323 до Р. Х.), Антигона I Гоната (320-239) и Антигона II Дозона (229-221); римских императоров Октавиана Августа (63 до Р. Х. - 14 по Р. Х.), Траяна (99-117), Адриана (117-138), Антонина Пия (86-161) и Марка Аврелия (121-180); из византийских - Юстиниана I (483-565), Никифора Фоку (913-969), Иоанна Комнина Доброго (1118-1143); Гарун-аль-Рашида Багдадского (786-809); короля английского Альфреда Великого (871-901); короля сербского Стефана Душана (1336-1356); царя болгарского Симеона Великого (888-927); из французских королей - Карла V Мудрого (Валуа, 1360-1384), Генриха IV Бурбона (1553-1610), Людовика XIV (1638-1715); великого курфюрста Бранденбургского Фридриха Вильгельма (1620-1688); Фридриха II, короля прусского (1712-1786); царя Алексея Михайловича (1629-1676), императора Петра Великого (1672-1725) и императора Александра II (1818-1881). Все эти государи своеобразны и различны; а пантеон великих монархов нисколько не исчерпывается их именами.

С другой стороны, судьба республиканских партий в том, что их новаторство обычно скоро выдыхается после их политического торжества. Проблемы здорового хозяйства, элементарного порядка, судопроизводства, путей сообщения, необходимой государственной обороны, гигиены и комфорта отрезвляет значительную часть республиканцев, не склонных к демагогическим авантюрам, и заставляют их мыслить не столько о создании нового, сколько о закреплении наличного. Образуются консервативно-республиканские партии, предпочитающие частную собственность - социализму, личную безопасность - процветанию гангстеров и апашей, честный и быстрый суд - системе

подкупов и волоките, здоровую армию - революционному сброду и т. д. Достаточно вспомнить тот поворот в эпоху первой французской революции, который стоил жизни Робеспьеру и Бабёфу, а также отношение Тьера к Парижской Коммуне (1871), для того чтобы понять эту неизбежную грань консервативного республиканства, которую я имею в виду.

Именно в этом смысле и с этими пояснениями следует принять то последнее различие, о коем я упомянул: преимущественный культ традиции и консерватизм монархического правосознания и преимущественный культ новаторства и радикализм республиканского правосознания.

## **Глава пятая** **ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ - 3**

1

Монархическое правосознание, религиозно укорененное и художественно олицетворяющее государственную власть, строящееся на началах семьи, ранга и традиции, естественно, усваивает себе в отношении к главе государства настроение доверия. Монархист доверяет своему государю, причем он нередко не может даже выговорить, на основании чего он питает это доверие и в чем именно он ему верит. Одно только не подлежит сомнению, а именно: там, где это доверие колеблется, там слабеют незримые, но самые прочные нити, скрепляющие монархическое государство; и обратно: где доверие к государю прочно, там монархия может цвести и вести народ.

Понятно, что это доверие имеет свой глубочайший корень в вере и религии: народу необходимо знать, что его государь ставит себя перед лицом единого и общего Бога, в Него верует, Ему внемлет, связует себя Его заповедями и служит Ему. Вот почему в истории замечается такое упорное стремление народа к государю единой веры. Напрасно монархи пытались подменить эту проблему, требуя от народа религиозного повиновения им самим (*cujus regio, ejus religio*<<\*34>>). Дело в том, чтобы народ доверял своему государю, а не в том, чтобы государь вымогал у народа признание его веры. Вера вообще не вымогается; и монарх, пытающийся осуществить это, колеблет самые глубокие основы своего строя. История Византии, Англии, Франции, Испании, Германии, Нидерландов недвусмысленно удостоверяет нас в том, что государь, навязывающий свою веру народу, возлагает на него антирелигиозное испытание, расщепляет его правосознание и колеблет его доверие. Так было при императорах-иконоборцах и при Юлиане Отступнике; так было при Филиппе II в Испании; так было в борьбе англичан и с монархами-католиками, и с монархами-протестантами; так было и при отмене Нантского эдикта Людовиком XIV. Народ, покорно приемлющий религию своего монарха, свидетельствует о несостоятельности и несамостоятельности своего религиозного чувства; народ, отказывающийся своему монарху в повиновении, перестает доверять ему. Поэтому не народ должен быть "единославен" со своим государем, а государь имеет основание принять трон только в той стране, где он будет "единославен" со своим народом, обеспечивая всем своим "инославным" подданным свободу исповедания.

История Теодориха Великого (454-526), короля остготов в Риме, ревностного арианина, разошедшегося со своими подданными, тянувшими к соединению с православной Византией, обнаруживает с особенной наглядностью опасность разноверия. Тогда в партию православия вошло духовенство, многие знатные римляне и даже ближайшие советники Теодориха. Узнав об этих тайных сношениях с Византией, Теодорих пришел в страшное негодование и не пощадил лучших друзей своих; Боэций и Симмах, философы и ораторы, были казнены; но и самое остготско-римское королевство не просуществовало после этого и 30 лет. Инославие лишило государя лояльности его подданных, а прекрасный государь, не сумевший дать религиозную опору правосознанию своих подданных, оказался не на высоте.

Гораздо легче было маневрировать Наполеону Бонапарту, который вообще вряд ли исповедовал какую-нибудь религию. Известно его признание: "Это я закончил войну в Вандее тем, что стал католиком, а сделавшись мусульманином, я водворился в Египте, а умы в Италии я привлек тем, что стал ультрамонтаном. Если бы я правил еврейским народом, я бы восстановил храм Соломона" <<112>>.

Понятно, почему религиозно-исповедное единство драгоценно в монархии. Вера есть зрелое проявление инстинктивной духовности человека и в то же время выражение его жизненной цельности, включающей в себя и волю, и чувство, и мысль, и воображение, и деятельность. Быть одной веры с кем-нибудь значит иметь религиозный акт однородного строения, стоять перед лицом единого и общего религиозного Предмета и дорожить однородными содержаниями и состояниями в творческой жизни. Нет большей близости, чем та, которая возникает из совместной и искренней молитвы, восходящей к единому Господу; и нет ничего важнее для устройства монархии, как уверенность верующего народа в подлинной вере своего Государя. Если народ знает, что его Государь имеет такой же акт веры, что он живет тем же актом совести и осуществляет сходный акт правосознания, то доверие его к Государю может считаться обеспеченным.

Вот почему московские послы, переговариваясь с поляками о призвании королевича Владислава на московский престол, говорили им: "никак не может статься, что государю быть одной веры, а подданным другой, и сами вы не терпите, чтобы короли ваши были другой веры" <<113>>. Опыт с Димитрием Самозванцем явно подтверждал эту точку зрения. Русские основные законы прямо требуют православного исповедания от членов династии, особенно же от кандидатов на престол, и от их матерей <<114>>.

2

Доверие монархиста к своему Государю состоит в том, что подданный твердо и цельно полагается на его намерения и на его способности. Он верит в то, что монарх верен своему государству и своему народу; что он искренне и целостно желает для него добра, силы и расцвета; что он справедлив и хочет справедливости для всех; что он бескорыстен и требует бескорыстного служения от других. Вне этого монархист не представляет себе царя, не видит и не чувствует царской власти. Но это доверие оказывается особенно плодотворным тогда, когда оно распространяется не только на намерения монарха, но и на его способности. Подданные должны воспринимать не только направление, искренность и преданность своего Государя, но и его энергию, его организационный дар, его дальновзоркость и его верное историческое понимание народных нужд. Они должны быть уверены в том, что он не только желает блага, но и может, и умеет осуществлять его. Тогда доверие к нему оказывается на возможной жизненной высоте и приносит богатые плоды.

Все это обычно подразумевается и редко выговаривается или даже совсем умалчивается. Но драгоценность и важность этого доверия сам монарх должен понимать, как никто другой: он должен заботиться о поддержании и укреплении его; он должен проверять и удостоверяться в том, что оно живет и не увядает; он должен видеть в нем главную силу своего правления, главную скрепу своего режима; он должен уметь вызывать в народе доверие. Это доверие совсем не должно выражаться в том, что народ отвертывается от общественных и политических задач, сваливает их бремя на своего государя, а сам предается пассивному безразличию. Напротив: доверие открывает сердца подданных и вызывает их активность и их инициативу в содействии монарху. Оно внушает подданным непоколебимую уверенность в том, что в государстве есть единая, правая и справедливая верховная воля, у которой можно найти всякую правду и оборону; что есть куда обратиться, есть к кому воззвать; что государство не формальная организация и не слепой механизм, ибо за всем этим и выше всего этого имеется благая и верная воля, способная совестно оценивать вещи и дела и по правде решать споры и несогласия. Доверие к государю есть необходимое и драгоценное настроение, которого и государь и сам народ должны требовать от всего множества граждан; ибо монархия, как и

всякий другой политический режим, живет и творит именно из душевно-духовного настроения, владеющего народом.

Понятно, что это доверие к государю приобретает особенное значение тогда, когда в страну приглашается новая династия, или тогда, когда дело идет о восстановлении на троне династии исторически-наследственной, но утратившей трон, или же когда в стране подымается республиканское движение. Водворение новой, может быть чужестранной, династии всегда бывает критическим временем в жизни народа. Целый ряд роковых вопросов возникает в народном самочувствии: "С нами ли он? Наш ли он? Разумеет ли он наши опасности и нужды? Будет ли он нам верен?" И еще глубже: "Приемлет ли его сердце наши национальные святыни? Дороги ли ему наши национальные верования и наши обычаи? Захочет ли он, сумеет ли он блюсти их?"... В этом случае (например, водворение в Швеции династии Бернадотов или в Болгарии Баттенбергской династии) все стоит под вопросом и очень многое зависит от нового государя. Иначе ставится вопрос, когда дело идет о реставрации прежней династии (например, возвращение Бурбонов во Францию). Реставрация династии пробуждает в душе народа чуть ли не все государственное прошлое, пережитое под прежним царским родом: все времена славы и крушения, все благодеяния и все ошибки монархов, все доверие и все недоверие минувших веков, все ликования и все разочарования совместного бытия и строительства... В такие эпохи, когда прошедшее и обременяет и облегчает новое - духовный и политический такт возвращающегося монарха приобретает особое значение: от его поведения зависит, быть носителем и возродителем прошлой славы, былых благодеяний и ликований - или наоборот... Ибо он призван не столько являть новое, сколько воспринять и возродить старые традиции, из которых может уже начаться новый строй и новая слава. Может быть, положение монарха оказывается наиболее трудным тогда, когда в стране только еще подымается республиканское движение. Обычно это бывает связано с образованием кадра честолюбивых политиков, уже отвернувшихся от монархии вообще и от правящего государя в особенности и прямо заинтересованных в опорочении и оклеветании монарха и монархии. Этот кадр считает необходимым критиковать и отвергать все, исходящее от монархии как таковой, даже самые верные и спасительные мероприятия, и может быть, эти последние реформы в особенности, ибо их удача могла бы реабилитировать и укрепить монархический режим. Тогда оказывается, что в стране имеется нелояльное общественное мнение, которое пропагандирует (то явно, то тайно) идею обреченности монархии, идею личной несостоятельности правящего монарха, идею невозможности прогресса в стране при данном режиме; публицисты, ораторы, шептуны и клеветники сеют безнадежность, ведут пораженческую линию во время войны, обвиняют во всем правительство, клеймят правительственную строгость как "террор", а мягкость как нераспорядительность или даже тайную злонамеренность; при малейшем попущении они начинают готовить революцию и заранее смыкать республиканские ряды. Из такого положения дел здоровый исход может быть найден только волевым государем-реформатором, монархом, одаренным дальностью и гражданским мужеством, умеющим морально и государственно импонировать и выносившим определенный и жизненно верный план преобразований.

Вот почему основное задание республиканцев в пределах монархии состоит прежде всего в том, чтобы подорвать доверие к монарху - доверие к его намерениям и доверие к его личным способностям. Самая идея "доверия к главе государства" кажется республиканцам вообще неуместной, противоестественной и, может быть, даже опасной. Республика есть по существу своему такой политический строй, при котором глава государства или совсем отсутствует (как в современной Швейцарии), или же обставляется всевозможными гарантиями недоверия. Из двух возможностей - персонифицировать государственную власть, вознести соответствующую персону в полномочиях и религиозно связать ее величайшими обязанностями; или же отказаться от этого личного центра, политически разгрузить это "место" и заменить царя чиновником, служащим по

избранию, срочным и ответственным, с урезанными правами, который с виду удовлетворяет элементарным требованиям порядочности и старается руководиться доступными ему соображениями пользы, - республиканское правосознание решительно выбирает второй путь и совсем не находит в себе ни сочувствия, ни даже органа для понимания того, что именно происходит в монархическом правосознании. Глава государства должен быть обставлен формальными гарантиями, направленными против его свободного разума и политического творчества; минимум таких гарантий составляют: присяга данной конституции (чтобы "он" не вздумал совершенствовать ее или приспособлять к жизни!), ограничение законодательного полномочия, невозможность совершить какой-нибудь неконтрассигнированный акт, обязанность утвердить законопроект, одобренный палатами, и т. д.

Вот почему президент республики избирается, а система и процедура избрания нередко обставляется так, что кандидат остро испытывает свою зависимость от партий и от массы избирателей. Предвыборная агитация, в которой он так или иначе принимает участие, ставит его нередко (например, в Северо-Американских Соединенных Штатах) в положение искателя, массового "угодника" и демагога, речам которого внимают праздные и жадные толпы народа, могущие выразить ему неодобрение и несочувствие в самых грубых и унижительных формах (например, в виде забрасывания будущего главы государства тухлыми яйцами или томатами). Кандидат старается угодить толпе, - то пожиманием рук, то показыванием своей жены, то политическими и хозяйственными обещаниями, то бесконечными, но "очаровательными" улыбками. Надо угодить партиям, обеспечить себе поддержку мировой закулисы, заинтересовать посулами народные массы - и ждать неверного, часто случайного большинства или меньшинства голосов. Президент строго ограничен в своих полномочиях и возможностях (даже тогда, когда власть его, как в Соединенных Штатах, весьма обширна): он как бы "заперт в клетку" неполноправия и ограничения. Французский президент может быть сверх того "обвинен" палатой депутатов, и тогда он подлежит суду сената<<115>>. И даже конституция Соединенных Штатов допускает возможность того, что президент республики будет "смещен"<<116>>. Есть и такие республиканские конституции, которые не допускают переизбрания президента<<117>>.

Поэтому можно сказать: там, где недоверие к главе государства выражается в системе ограничивающих и обезличивающих его "гарантий" против него самого - там имеется налицо республика, хотя бы глава государства все еще назывался королем (такова, например, была французская конституция 1791 г., никогда не осуществленная в жизни). Республика строится на принципиальной недоверии к главе государства, объективированном в виде системы учреждений. Понятно, что в душе республиканца это недоверие принимает не только личный, но и принципиальный характер, а в критические моменты превращается в пафос, ибо в этих "гарантиях" и ограничениях республиканское правосознание видит оплот и защиту для своих высших идей - свободы от тирании и всеобщего равенства. На самом деле эти гарантии имеют, конечно, условное и формальное значение. Наивен и несведущ был бы тот республиканец, который вообразил бы, что эти гарантии делают невозможным бонапартизм, цезаризм, диктатуру, тоталитаризм, переворот или реставрацию. Достаточно вспомнить историю республиканского Рима, завершение французских революций 1789 и 1848 годов или распространение диктатуры в республиканской Европе 1920-х и 1930-х годов (Венгрия, Италия, Германия, Австрия, Испания, Польша, Латвия, Эстония, Литва). Единственно, что эти формальные гарантии обеспечивают, это то, что самая сильная и даровитая, но лояльная личность, заняв пост президента, не сможет проявить свой политический талант и будет держаться как слабая и бездарная безличность. Но нелояльный властолюбец всегда сумеет вовремя "перейти Рубикон" и поставить республиканцев перед совершившимся фактом.

Итак, опасность монархического правосознания в том, что оно будет принципиально и безоглядно доверять притязательному или прямо недостойному монарху, который и обрушит на страну все бедствия произвола, террора и разорения (Нерон, Андроник Комнин, Иоанн Грозный, Людовик XIV). Опасность же республиканского правосознания в том, что оно совсем разучится доверять главе государства и не сможет поддержать его даже тогда, когда это окажется необходимым для спасения страны (положение адмирала Колчака, генерала Врангеля в гражданской войне 1918-1920 года, маршала Петена во время второй мировой войны). Однако монархическое правосознание, рискуя своим доверием, все же строит государственную власть, и пафос его имеет политически-положительное значение. Тогда как республиканское правосознание, не желая попадать в "глупое" положение "доверчивого простака" и считая всякое "излишнее" повиновение "унизительным", пытается строить государственную власть на стихии принципиального недоверия; пафос его оказывается политически-отрицательным, и такая установка правосознания может потребовать от народа слишком многих жертв.

3

С доверием к государю в монархическом правосознании теснейшим образом связаны два основные чувства - любви и верности.

Установим прежде всего, что доверие - невынудимо. Угрожая неприятными последствиями и приводя их к осуществлению, стесняя, наказывая и казня людей, можно, конечно, побудить их к известному внешне-лояльному образу действия: они будут умалчивать о своих мнениях и настроениях, что-то во вне делать и чего-то не делать. Но никакими подобными мерами нельзя вынудить у людей душевно-духовное положительное отношение к государственной власти и к ее главе. Доверие вырастает и крепнет внутренне и свободно. Оно предполагает живое и искреннее уважение к государю и слагается в настоящую любовь к нему. Выражением этой любви должна быть монархическая присяга и соответствующая ей верность государю.

Доверять человеку значит верить в его сердечное благородство и существенную качественность его воли; и соответственно этому ждать от него доброты и благих дел. И вот, человеку свойственно включать таких людей в свое "сердце", т. е. связывать с ними огонь своего чувства - оценивающего, приемлющего, надеющегося и благодарного. Человеку со здоровым, неизвращенным чувствительным свойственно любить того, кого он считает хорошим и добрым. В отношении к монарху это чувство углубляется на путях религиозного "единославия" и молитвы; оно приобретает некую органическую естественность от вовлечения чувств семейственных и сыновне-отцовских; оно приобретает оттенок почтения и благоговения от подобающего чувства ранга; оно укрепляется от дыхания священной традиции; и таким образом вызывает в душах ту драгоценную "идеализацию", без которой никакой авторитет не бывает сильным и ведущим.

Когда мы говорим об "идеализации", то мы должны различать - идеализацию наивную, слепую, необоснованную, вводящую в заблуждение и населяющую жизнь обманчивыми и разочаровывающими призраками, и другую идеализацию, духовно-зрячую, обоснованную, творческую, волевою, позволяющую нам строить и совершенствовать жизнь. В первом случае человек чувствует и действует, как влюбленное дитя, согласно правилу "по милу хорош": то, что ему сослепу приглянется, он возводит в "перл создания" и прилепляется к нему душою и сердцем. Говоря словами мудрого поэта:

"То лишь обман неопытного взора,  
То жизни луч из сердца ярко бьет  
И золотит, лаская без разбора  
Все, что к нему случайно подойдет".  
(Граф А. К. Толстой)

Такая идеализация всегда заканчивается разочарованием, унынием и пессимизмом.

Совсем иное дело духовная, творческая идеализация. Она исходит не от того, что субъективно нравится, но от того, что на самом деле хорошо ("по хорошему мил"). Сущее качество другого человека приемлется духом и сердцем и становится живым и подлинным основанием отношения к нему. Это отношение имеет характер волевой и творческий: надо сделать все возможное для того, чтобы это сущее качество окрепло, стало цельным, прочным, верно действующим в жизни и ведущим других. Это отношение есть любовь, зрячая, духовная, строящая и возносящая.

Именно такова любовь, проявляющаяся в монархическом правосознании. Это есть любовь идеализирующая, т. е. созерцающая облик идеального правителя и делающая все возможное для осуществления этого идеала в лице данного государя. Она видит духовным оком тот "noumen imperatoris" <<\*35>>, о котором повествует нам римская история, преклоняется перед ним и служит ему с тем, чтобы помочь ему овладеть всю личность монарха и осуществить в нем идеал правителя. Именно в этом состоит "идеализация", осуществляемая монархическим правосознанием: она связывает дух монархиста с духом монарха живою, творческою, художественно-таинственною связью, которая и составляет главную скрепу монархического строя.

Монархия держится любовью подданных к монарху и любовью государя к своим подданным. В душе монархиста живет особенное отношение к государю, а в душе у государя живет особенное отношение к его подданным. Есть оно, это отношение, - и настоящая монархия (не по расчету, не из страха, не по инерции!) живет и цветет, государство крепнет... Люди счастливы, что у них есть царь, а государь ведет свой народ на достойных путях к благоденствию... Нет этого отношения - и монархия превращается в пустую видимость, в иллюзию, в какое-то тягостное и опасное всеобщее недоразумение. Что бы ни гласила писаная конституция, какие бы внешние поступки люди не совершали - все начинает идти криво, все становится двусмысленно и недостоверно; начинается неискренность, скрытый протест, разлад, недовольство, неудачи; эти неудачи приписываются монархическому строю, в них обвиняют государя; протесты вырываются наружу, начинается оппозиционное и, далее, революционное движение. Люди думают: вот монархия, и в ней все идет криво и вредно; значит, монархия есть плохой государственный строй; и не понимают, что дух отлетел и что от монархии осталась одна внешняя видимость, пустая оболочка... Главного не стало. Глубокие родники иссякли. Не стало некой таинственной силы, животворящей и драгоценной. Исчезло то внутреннее отношение между государем и народом, без которого ни одна монархия не может быть национально-плодотворной. Нетрудно понять, в чем состоит это отношение.

Свет и цвет мы видим глазом, ибо глаз есть верный орган для цвета и света. Звук, пение, музыку мы слышим ухом; и не дано нам слышать звук глазом или воспринимать свет ухом. И так обстоит во всем, со всеми предметами; ибо каждый из них требует особого органа и соответствующей этому органу "функции" или "акта". Только воображением чистого, идеального пространства можно постигать геометрию, воображая-созерцая ее фигуры и формы. Только чистой мыслью можно постигнуть логику, ее законы и доказательства. И вот, подобно этому, великие духовные Предметы тоже нуждаются как бы в особом органе, но не внешнем, не телесном, а внутреннем, т. е. в особых состояниях, восприятиях и усилиях души. Нет этих восприятий и состояний - и Предмет остается недоступным, а душа остается безразличной для него и мертвою. Какою же душевно-духовной силою воспринимается монарх? Какою силою должна связаться с ним душа человека для того, чтобы возникла и утвердилась тайна монархии? Чтобы возникла не мнимая, не кажущаяся монархия, а подлинная, жизненная, могучая и священная?

Чтобы иметь Государя, его надо любить. Кто не любит своего Государя, тот душевно и духовно теряет его, отвертывается от него, жизненно отрывается от него глубиною своего правосознания, разрушает свою таинственную, творческую,

государственную связь с ним. По закону он остается подчиненным монарху, он по-прежнему обязан de jure повиноваться ему; но главное исчезает. Это будет уже иное повиновение: формальное, официальное, показное, непрочное - не "за совесть", а "за страх". С виду все остается по-обычному: и монарх есть, и подданный есть. А на самом деле подданный видит в монархе не то полновластного чиновника или диктатора, не то деспота, насильника, тирана; а монарх имеет в своем подданном не то безразличного обывателя, не то тайного врага - недоброжелательного критика, притворщика, полупокорного протестанта и, строго говоря, - не свободного гражданина, а лукавого и неверного раба.

Иметь Государя возможно любовью, сердцем, чувством. Кто любит своего Государя, тот имеет его действительно, по-настоящему; и тем строит свое государство. Кто не любит его, тот всю жизнь будет притворяться перед собою и перед людьми, будто он лоялен; но иметь Государя он не будет. Любить же своего Государя - значит чувствовать в нем благу, добрую силу, которая искренне хочет своему народу добра и живет только ради этого добра и этого служения. И оно так и есть на самом деле. И помогать ему в этом посильно и даже сверхсильно, всемерно и повсюдно - есть сущее и пожизненное призвание всякого подданного...

Так это испытывает монархическое правосознание. Этим оно осуществляет в государстве акт величайшей важности: оно вносит в государственное служение и в политическое строительство начало чувства, искренней, благородной, активной любви, - любви к монарху, которая неразрывно сплетается и срастается с любовью к своему народу и отечеству. Самый монархический строй требует от гражданина не только законопослушания, но участия чувства и сердца. Самое бытие Государя вовлекает в государственное строительство любовь человека со всеми ее огнями, взлетами, подъемами и напряжениями. "Формальное" отходит на задний план; направляющей и решающей становится содержательная, совестно-религиозная глубина души. Человек перестает числиться отвлеченным "субъектом права", гражданственной единицей, участником политической массы, но становится живым и цельным человеком в полном смысле этого слова. Он вовлекается в государственное строительство целиком, и чувство любви, которым загорелось его сердце, приводит всю его душу в движение по-новому: по-новому живет его чувство ответственности, по-новому ставятся для него вопросы верности и чести; он иначе воспринимает свой долг и свою службу; он иначе созерцает религиозное призвание своего народа и органическое единство своей страны. Его правосознание не есть только функция личного инстинкта, воли и мысли; оно сверх того верит, любит и созерцает. Именно поэтому здоровый монархический строй являет те черты теплоты, интимности и преданности, которые нередко порождают наплывы умиления и взрывы восторга.

В особенности характерна для монархического правосознания та верность Государю, которая должна сливаться с верностью народу и государству. Монархическая верность есть такое состояние души и такой образ действия, при котором человек соединяет свою волю с волею своего Государя, его достоинство со своим достоинством, его судьбу со своей судьбою. Верность монархиста есть прямое последствие его доверия к монарху и прямое проявление его любви к Государю. Он верен потому, что доверяет; и это выражается уже в том, что как только он перестает доверять, так приходит в колебание и его верность. Доверяя, он как бы говорит своему Государю: "верю, что Ты еси верный орган нашей общей родины и нашего народа; что Ты утопил все Твои личные интересы в едином интересе нашего общего отечества, что Ты верен ему; что Ты беззаветно служишь не себе, а ему; что Ты ищешь для всех Твоих подданных, а моих братьев, блага и справедливости; что Ты Богом и через Бога соединен с нашею родиною и со всеми нами; и потому я, служа Тебе, служу моей родине, и притом наилучшим образом, и верность моя моему народу и моей родине только и может заставить меня быть верным

Тебе. А потому приемлю Твое государственное изволение как связующее меня, Твой путь как мой путь и Твою судьбу, как мою судьбу"...

Естественно, что в республиканском правосознании все обстоит иначе. Оно сохраняет за собою "драгоценное" для него право не связывать себя с персоною правителя. Сегодня он избранный "глава государства", а завтра случится с ним какое-нибудь неприятное происшествие и его "приберут" ввиду "несоответствия". Характерный случай имел место во Франции в XX веке, когда президент республики в одном ночном одеянии вывалился из вагона и сел на кучу песка; падение было очень удачно, он не был ни ранен, ни ушиблен; но весь контекст происшествия был настолько скандально-комичен, что оставаться в звании президента ему было неудобно; и его "убрали".

При таком трактовании вопроса говорить о "верности" граждан президенту республики было бы совершенно неподобающе. И в самом деле, республиканское правосознание не усмотрело бы в такой верности ничего, кроме глупости, комизма и, даже более того - нелояльности конституционным законам. Тому чиновнику, который случайным большинством (иногда купленных и проданных, иногда закулисно навязанных) голосов окажется избранным для уравнивания государственной машины и который может быть завтра привлечен к ответственности, или "без шума" убран, или просто забаллотирован - ни один гражданин не может быть повинен никаким особым доверием, да еще целостным и религиозно обоснованным, тем более никакой "верностью". Напротив, республиканец принципиально уполномочен и даже призван сохранять полную независимость своего воления и своей судьбы от своего эфемерного президента; он был бы прямо смешон, как жертва комического недоразумения, если бы он начал из чувства преданности и верности всю жизнь голосовать за одного и того же президента, если бы он решил служить ему лично, жить для него или готовился умереть за него (например, Гарри Трумэна). Мало того: гражданин республики имеет все основания "присматривать" за своим президентом и следить за его лояльностью; а на следующих выборах он может почувствовать себя обязанным выступить с обличениями и разоблачениями. Он может даже восхотеть сам стать президентом и затратить многие миллионы на пропаганду своей собственной кандидатуры. Республиканец всегда может высказать своему президенту классическое предложение: "ôte-toi que je m'y mette" <<\*36>>... "...И лояльность его нисколько не будет нарушена этим конституционно-разрешенным "покушением".

Напротив, для монархического правосознания верность Государю есть существенный признак. В Средние века монархи так и называли своих подданных "omnes fideles nostri" <<\*37>>. Французский язык пользуется в этом случае еще со Средних веков тем же самым словом "la foi" для обозначения "веры", "доверия" и "верности". Эта "вера-верность" подобна природной связи между отцом и сыном: здесь решает природа, естество, рождение; подданные называются "les natifs" <<\*38>>, "les originaires" <<\*39>>, а их отношение к монарху обозначается латинским словом "naturalitas" <<\*40>>, которое на протяжении всех Средних веков обозначает "la fidélité, due au roi ou au légitime seigneur" <<\*41>> <<118>>.

В русском языке "подданство" и "верность" сливаются в единое слово "верноподданный". Эта связь между подданным и Государем закреплялась присягой, при которой "князю целовали крест" и которую выражали словами "присягая, государям души свои дали" <<119>>. Еще в старых договорах, заключавшихся на Руси между народом и князем, нередко помещалось условие - не разлучаться с князем ни в каком случае, но умереть с ним вместе (Сергеевич). Такая безусловная связь, - связь личной судьбы и личной жизни, - наблюдается везде на протяжении человеческой истории: воину почетно умереть за своего Государя; но это столь же почетно и для гражданина ("Жизнь за царь"); и самый бой переживается как бой, происходящий за монарха, по его повелению и во имя его дела. Замечательно, что о такой безусловной верности Государю древняя Русь, избиравшая князей на вече, знает мало: бывали случаи, когда князей удаляли, причем

иногда громили их двор и разграбляли их имущество, а бывали и случаи князеубиения<<120>>.

Прескотт в "Завоевании Перу" рассказывает, как во время предательского нападения Пизарро с его испанцами на перуанского монарха (Инку) верные дворяне густою толпою окружили своего Государя, хватали лошадей за ноги и мужественно умирали под копытами коней и мечами всадников; место каждого убитого занимала тотчас новая жертва...

Надо признать, что эта традиция монархического правосознания - идти на смерть за обороняемое сокровище, - присуща всякой честной армии, как таковой; и монархическое правосознание распространяет ее и на монарха, утверждая свою верность не только на протяжении жизни, но и в смерти. Именно это роднит каждую доблестную армию с монархическим правосознанием: солдат обороняет своего офицера и генерала так, как верный монархист своего Государя. Этим и объясняется то обстоятельство, что переход от республики к монархии совершался в истории не раз именно через посредство верной и победоносной армии. От верности до любви и от воинской персонификации до монархического олицетворения остается нередко всего один шаг; и фанатические республиканцы не без основания следят за своей армией и за своими генералами, опасаясь измены.

## **Глава шестая**

### **ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ - 4**

1

Если мы сопоставим все, доселе добытое нами, то мы увидим, что основные предпочтения монархиста вовлекают в монархическое служение весь его внутренний мир: они требуют от него участия - и веры, и художественного олицетворения, и доверия, и любви, и всей его иррациональной духовности, включая в особенности его живое правосознание, его чувство верного ранга и его инстинктивно-семейственные и родовые побуждения. Настоящая монархия осуществима только в порядке внутреннего, душевно-духовного делания. Она вносит в политику начало интимности, преданности, теплоты и сердечного пафоса. Это не значит, что всякий монархический строй соответствует этим, с виду "идеально-патетическим", требованиям и пребывает на высоком уровне нравственно-религиозной духовности. Нет, история знает колеблющиеся монархии, вырождающиеся монархии и монархии, стоящие накануне крушения. Но эти колебания, это разложение и крушение происходит именно потому, что монархический строй теряет свои интимные корни в человеческих душах и "выветривает" свою иррациональную духовность. Монархия не сводима к внешней форме наследственного единовластия или к писаной монархической конституции; формализация губит ее; она расцветает, укрепляется и начинает государственно и культурно плодоносить только тогда, когда имеет живые корни в человеческих душах.

Но именно это интимное укоренение в личной духовности - и есть то, без чего думает обойтись республиканское правосознание. Республиканец отнюдь не считает ни необходимым, ни существенным внесение религиозной веры в строение своей государственности; напротив, ему представляется важным и драгоценным "освободить" личную душу к малoverию, неверию и безбожии; свобода верить и не верить драгоценна ему; но участие веры в правосознании, а следовательно, и в гражданско-политической жизни - кажется ему совершенно ненужным; это и выражается в требовании "отделить церковь от государства" (т. е. в требовании секуляризации и формализации правосознания).

Далее, республиканец принципиально не считает возможным и нужным обуславливать политическую деятельность какими бы то ни было требованиями духовности или тем более иррационально-интимной духовности. Исторически данный человек, как он есть и каков бы он ни был, кажется ему совершенно достаточным для

политического правомочия (исключения делаются только для слишком уже маловозрастных, для слишком уже сумасшедших и уголовно осужденных индивидуумов). Республиканец настаивает на внешнем и формальном понимании полноправия. Все "качества", необходимые для государственного строительства, предполагаются у людей как наличные, до тех пор пока не доказана прямая "imbecillitas" или "malevolentia" субъекта, причем и самое зложелательство его (malevolentia) должно быть квалифицированным, законно предусмотренным и уголовно осужденным. Отсюда неизбежное снижение гражданственного уровня в республиках, где почти всякий внешний и внутренний "ценз" подвергается поношению и извержению. Внутренний мир человека "освобождается" к личному произволению; внешние признаки "человечности" считаются принципиально достаточными для государственного строительства. От гражданина никаких духовных "качеств" не требуется; никакие внутренние "напряжения", усилия, заботы, никакое воспитание правосознания, никакой внутренний "подход" к государству и к политике не считается "верным" или "надлежащим". На то человеку дается республиканская "свобода". Это включает в состав полноправных и активных граждан обширные кадры людей, принадлежащих к порочным и позорным профессиям: ростовщиков, контрабандистов, шулеров, содержателей домов терпимости, фальшивомонетчиков, скупщиков краденого, сутенеров, торговцев живым товаром и других... согласно правилу "не пойман - не вор"...

Эта "свобода" в особенности относится к чувству со всей его интимностью и теплотой, к тому, что может быть обозначено как "жизнь сердца". Республиканец признает за человеком право отстаивать свой интерес, но не признает за ним призвания - любить свою страну, ее народ, ее армию и "чиновников" своего государства, например, президента, главнокомандующего и т. д. Такая "любовь" сделала бы республиканца просто смешным в его собственных глазах и в глазах его сограждан; и когда мы видим проявление таких чувств в республике (например, у бонапартистов в 1848-1851 годах по отношению к Наполеону III; или у немцев по отношению к Адольфу Гитлеру; или в Соединенных Штатах по отношению к Вашингтону или к Макартуру), то мы имеем полное основание говорить о том, что начинается перерождение республиканского начала...

2

Замечательно, что с этим связано начало достоинства и чести.

Чувство собственного достоинства, - если только не разуместь под ним банальное самолюбие или пошлое самомнение, - требует от человека духовной жизни и духовной культуры. Поэтому оно и дается не всякому, а лишь тому, кто успел укорениться в личной духовности. Понятно, какое значение приобретает эта укорененность для политической жизни, которая творится именно правосознанием: ибо чувство собственного духовного достоинства есть первая и основная аксиома правосознания<<121>>. Это чувство не может быть внушено извне, вскормлено мнением толпы и упрочено внешними почестями. История знает множество тиранов, вознесенных на последнюю высоту внешними почестями, пресмыканием честолюбцев и рабскими унижениями толпы, - и в то же время совершенно лишенных чувства собственного достоинства, правивших посредством унижений и тем доказывавших свою собственную низость. Чувство собственного достоинства доступно только духу, выросшему в усилиях личной воли и в долгом дыхании сердца и потому недоступному никаким внешним доказательствам, ни отрицательным, ни положительным.

Уважать себя значит знать о своей силе в добре, и не сомневаться в ней, и не колебаться в ней. Эта "первая наука", по слову Пушкина - "читать самого себя", отнюдь не должна смешиваться с самомнением и со всеми иными формами само-пере-оценки. Уважение к себе как живому духу есть основное условие бытия: акт самоутверждения, уводящий в "сердечную глубь", к "не смертным, таинственным чувствам", которые ставят человека перед Лицом Божиим, научая его измерять себя, свою жизнь и деятельность

мерилами совершенства. Начинается строгая внутренняя цензура, требовательная, воспитывающая человека и организующая его духовную личность. Человек требует от себя всех основных духовных качеств и постепенно приобретает облик рыцарственности. Верность этому облику и составляет его честь. Блюсти свою честь он повинен перед Лицом Божиим, перед лицом своего Государя, перед своим народом и перед самим собою. При этом существенным является не то, что другие думают о нем или говорят о нем, но то, что он есть и чем он остается на самом деле. Вот основные формулы чести: "быть, а не казаться"; "служить, а не прислуживаться"; "честь, а не почести"; "в правоте моя победа". И все это мыслится не как внутреннее самочувствие и внутреннее делание, но как закон внутренней жизни, вносимый во внешний мир, в государственное строительство и в политику.

Это заставляет нас установить и признать, что начало духовного достоинства и чести есть основа не республиканского, а монархического строя. Это совсем не означает, что всякий республиканец, как таковой, лишен чувства собственного достоинства и не знает, что такое честь; утверждать это было бы исторически несостоятельно и духовно нелепо. Казалось бы даже, что "справедливость" побуждает нас установить обратное: люди становятся республиканцами именно потому, что их "чувство собственного достоинства" отказывается мириться с беспрекословным повиновением главе государства; их "честь" требует свободного чувствования, свободного мышления и свободного жизнеустроения, а монархический строй явно лишает их всего этого. Именно поэтому республиканцы не раз выдвигали в истории, - как идейно, так и активно, - принцип "монархомахии", или цареубийства: для них это было вопросом свободы, чувства собственного достоинства и чести.

Однако мы имеем в виду не те побуждения, которые заставляют республиканцев восставать против монархического строя, а тот жизненный уклад правосознания, который они считают единственно соответствующим их чести и достоинству и который они предлагают нам всем как единственный. Из двух первых и основных аксиом правосознания, - "личного достоинства" и "свободы самоопределения" <<122>>, - республиканцы отдают решительное предпочтение второй и готовы подразумевать первую как присущую каждому человеку чуть ли не от рождения. А между тем это уместно лишь в немногих странах, где, как, например, в Финляндии, уровень личной морали настолько высок и прочен, а искушения темперамента настолько не интенсивны, что экзистенциальный минимум как бы гарантирован для первой аксиомы правосознания и начало чести и достоинства не тонет в произволах свободы. Совсем иначе обстоит в большинстве других республик. Можно было бы сказать, что республиканцы полагают свое достоинство не в достоинстве, а в свободе, и свою честь не в чести, а в независимости. Им важно и драгоценно чувство личной независимости, нередко уводящее их к революционно-анархическим мечтам; что же касается личной культуры, духовного самоутверждения, самовоспитания и самоуважения, то они считают правильным и даже необходимым предоставить все это личному усмотрению и личному самоопределению. Поэтому можно было бы сказать, что у республиканца честь и достоинство обычно тонут в личной свободе, тогда как у монархиста личная свобода может утонуть в культивировании чести и достоинства. Республиканец мыслит себя и всякого гражданина вообще, как уже созревшего к личному духовному достоинству, как самостоятельного блюстителя своей чести; и все, чего он добивается, это полная независимость в вопросах веры, мнения, суждения, совести, чести и действия. Но это и означает, что он не включает честь и достоинство в жизнь правосознания и в его деятельность; это ему не нужно, это его только стеснило бы, это умалило бы или нарушило бы его свободу. Вот откуда эта типичная для республиканцев готовность - добыть себе свободу на путях, не соблюдающих ни достоинство человека, ни его честь, - на путях интриги, клеветы, заговора, правонарушения, революции и террора. Республиканец сам себе блюститель и пастырь; его правосознание не имеет единого якоря, единого духовного источника,

единого мерил. Все духовно-социальные удержки кажутся ему устаревшими и отпавшими, - это не более, чем религиозные, монархические и сословно-дворянские "предрассудки", стесняющие жизнь и умаляющие свободу и достоинство человека. Поэтому его первая задача - разоблачить предрассудочность этих предрассудков и освободиться от них. Республиканское правосознание сознательно и намеренно отрывается от своей иррациональной исторической и духовной почвы, провозглашает нового, - безрелигиозного, антимонархического и антидворянского (лозунг французской революции: "les aristocrates à la lanterne" <<\*43>>) - гражданина и пытается построить на его новом, условном и релятивистическом правосознании новую государственность. Это отнюдь не означает, что все республиканцы лишены чести и достоинства; но они понимают и то, и другое по-своему и считают эти корни гражданственного бытия делом личным, а не публичным; делом свободной морали, а не делом государственного правосознания.

3

Совсем иначе строится монархический уклад души. Он вырастает на протяжении веков из иррациональной духовности человека, - из веры, из художественного олицетворения государства и народа, из доверия к Государю и любви к нему, из верности и служения ему, а такая верность служения требует искусства повиноваться без унижения. Подобно тому, как нелепо было бы утверждать, будто республиканец не знает достоинства и чести, столь же нелепо было бы говорить, что монархическое правосознание не знает свободы и не ценит ее. Напротив: монархия сильна и продуктивна только там, где монархисты умеют, в самом своем повиновении Государю, ценить свою свободу, утверждать ее и блюсти ее в жизни. Мы знаем, конечно, что у республиканцев есть такой предрассудок, будто монархия ведет к рабству и будто лояльность монархиста сама по себе уже доказывает, что он "не созрел до понимания свободы". На самом же деле это обстоит совсем иначе. Ибо лояльность и дисциплина могут быть приняты добровольно и свободно и тогда о рабстве говорить совсем непозволительно. Мало того, верность, вырастающая из доверия и любви к Государю, есть сущее преодоление несвободы, ибо свобода вообще состоит не в ежеминутном торжестве личного произволения, а в добровольном приятии правовых границ своей жизни. Свободен не тот, кто, ничему и никому не подчиняясь, носится по прериям своей жизни, как сказочный всадник без головы, но тот, кто в порядке духовного "само-бытия" <<123>> свободно строит свое правовое подчинение добровольно признанному авторитету. Достоинство человека состоит не в том, чтобы никому и ничему не подчиняться, но в том, чтобы добровольно подчиняться свободно признанному правовому авторитету. И этот свободно признанный правовой авторитет воспитывает человека к правовой свободе и к духовной силе.

Но и этим сказано далеко не все существенное. Дело в том, что Государь нуждается не в пассивной покорности запуганных подданных, а в творческой инициативе граждан, блюдущих свою честь и достоинство. Великие государи знали это лучше всех. Они знали, что монархия держится добровольной лояльностью, инициативным сотрудничеством граждан, несущих Государю свои лучшие советы и свои верные усилия. Настоящий монархист не тот, который ждет высочайшего приказа и запрета - и затем формально подминает жизнь под их требования; но тот, кто спрашивает себя по каждому делу и вопросу: "как лучше?" и затем ищет и добивается во всем "государевой правды". Жизнь для него не служба, а служение; не покорность, а творчество; не погрязание в раболепном безволии, но дело активной ответственности перед Государем; можно было бы сказать: пафос монархической ответственности.

Здесь мы касаемся одной из основных тайн монархического строя и уклада души. Дело в том, что олицетворение народа и государства персоною Государя есть процесс художественно-религиозный. Он не сводится к тому, что под обширные и сложные реальности, именуемые "народом" и "государством", подставляется нечто более простое и

малое, а именно персоне единоличного монарха. Силою любви, и притом духовно-волевой любви, а также силою воображения, и притом духовно-волевого воображения, осуществляется художественное отождествление верноподданного с Государем (как бы "снизу вверх") и в то же время - художественное отождествление Государя с его народом (как бы "сверху вниз"). Единение Государя и народа не есть ни отвлеченное представление, ни пустое слово, ни лицемерная игра словами, но подлинный, государственно-творческий процесс. Остановимся в данный момент только на первой части его.

Облик Государя, введенный в душу силою любви, воли и воображения (по древнему русскому выражению патриарха Иова, "присягая, государям души свои дали")<<124>>, вносит в нее нечто совершенно новое, а именно помысел о всенародной справедливости, расширяющий личный интерес до размера общегосударственного и углубляющий личное правосознание до царственной глубины. Художественное отождествление с обликом любимого и желанного Государя, созерцаемого в его духовно-верном, т. е. идеальном составе, вносит в душу гражданина нечто подлинно царственное: ту заботу обо "всем народе", которою живет сам Государь; то созерцание своего государства из его прошлого, через его настоящее, в его будущее, которое составляет самое главное дело каждого монарха; готовность стоять, бороться, а если понадобится, то и умереть за свое отечество; то повышенное чувство ответственности, которое характеризует каждого истинного государя; то чувство "служения", и притом беззаветного служения, которым держатся все монархии. И все это есть поистине нечто царственное.

Пребывая в этом царственном настроении и превращая его постепенно в самое прочное и жизненное свое достояние, монархист приучается спрашивать себя перед каждым решением и делом, - что именно он может принять на свою ответственность перед лицом своего Государя? какой образ действия есть для него, как монархиста, наиболее достойный? как следовало бы ему поступить, если бы он сам был монархом? Он как бы возносится на ту духовную "башню", с которой Государь созерцает пути и судьбы своего народа. Он приучается измерять свои поступки царственными мерилками - ответственности, чести и всенародного блага. Он, так сказать, "потенцирует" свою гражданственную личность, требуя от нее всенародности, бескорыстия, царственных целей и путей. Подобно тому, как человек, молящийся перед иконой, вчувствуется в ее благодатные образы и незаметно вводит себя в тот душевно-духовный уклад, который показан в ее чертах и настроениях, так монархист, художественно созерцающий своего Государя и посылающий ему в лучах своего доверия и своей любви свое "лучшее", утверждает свое духовное достоинство, крепит свою честь и воспитывает свое правосознание.

Эту идею, это самочувствие и соответствующее ему внутреннее делание можно найти в истории человечества в самых различных странах.

"Ошибочно думают, - говорит, например, поэт Клавдиан (язычник, конец IV века по Р. Х.), - что при монархе подданные делаются рабами; никогда не пользуешься большей свободой, чем при порядочном государе..."<<125>> "Государь должен помнить, что римляне, которыми он повелевает, некогда повелевали вселенной"<<126>>... Замечательно, что во все времена и у всех народов стойкое и мужественное правдоговоренное Государю считалось надлежащим и лучшим образом действия; и если иные монархи с деспотическими наклонностями не умели переносить этого (подобно Эрику XIV, Иоанну Грозному и другим), то этим они искажали и повреждали самое основное в строении монархического государства. Так, Забелин отмечает, что царь Иоанн III Московский "против себя встречу любил", а царь Василий III не выносил возражений и однажды наложил опалу на возражавшего ему боярина Ивана Берсена: "Пооди, смерд, прочь, не надобен ты мне"<<127>>. Невольно вспоминается позднейшая судьба князя Репнина, митрополита Филиппа, боярина Морозова и других "стоявших и прямивших" при Иоанне IV Грозном.

Однажды королева Мария Стюарт спросила свободоречивого шотландского реформатора Джона Нокса: "Кто вы, что беретесь поучать дворян и государыню нашего королевства?" "Сударыня, - ответил Нокс, - я подданный, рожденный в том же королевстве". "Разумный ответ! - замечает глубокомысленный Карлейль - если подданный знает правду и хочет высказать ее, то конечно не положение подданного мешает ему сделать это" <<128>>.

У С. Ф. Платонова читаем: в XVII веке московская "власть желала" в земских представителях на соборах "видеть людей, которые б умели рассказать обиды, и насильства, разоренье и чем Московскому государству полнитца" <<129>>... Русские цари того времени искали правды и людей гражданского мужества.

После посещения инкогнито английской Палаты Лордов (1697 г.) Петр Великий записал: "Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему Государю правду; вот чему надо учиться у англичан". Он же говаривал: "Полезное я рад слушать и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь бы не отнимали у меня времени бездельем". Чтобы возвысить достоинство своих подданных, он запретил бить солдат, писаться в обращении к царю уничижительными именами, падать перед царем на колени и снимать зимою шапки перед дворцом: "К чему унижать звание, безобразить достоинство человеческое? Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству - таков почет, подобающий царю"... "Вот, - говаривал он князю Якову Долгорукому, - ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь, и правду говоришь, за что я внутренно тебе благодарен" (1717 г.)...

Граф Ласказ, секретарь Наполеона, сообщает, что Наполеон умел терпеливо выслушивать возражения; но одному упорному возражателю он под конец сказал, указывая днем в небесную даль: "Voyez-vous cette étoile?" - "Non". - "Eh bien, moi, je la vois et très distinctement. Sur ce, mon cher, bon jour! Retournez à vos affaires et surtout fiez-vous-en à ceux qui voient un peu plus loin que vous" <<130>>. ("Видите ли вы эту звезду?" - "Нет". - "Ну вот, а я ее вижу очень отчетливо. А затем, мой милый, до свиданья. Возвращайтесь к вашим делам и доверяйтесь особенно тем, которые видят немного дальше, чем вы"...) )

В мемуарах Витте мы находим следующий рассказ: "Граф Ламсдорф сказал мне: одно из двух - или наш Государь самодержавный, или не самодержавный. Я его считаю самодержавным, а потому полагаю, что моя обязанность заключается в том, чтобы сказать Государю, что я о каждом предмете думаю, а затем, когда Государь решит, я должен безусловно подчиниться и стараться, чтобы решение Государя было выполнено" <<131>>. Таким образом, "самодержавие" отнюдь не исключает мужественного правдоговорения перед лицом монарха. Мало того: в состав обязанностей монарха входит терпимое, милостиво-любезное и беспристрастное выслушивание правды из компетентных уст.

Гениальный немецкий поэт-романтик Новалис (Фридрих фон Харденберг, 1772-1801) выдвинул одно из самых глубоких толкований монархии и монархического устройства. Принимая целостно и последовательно идею художественно-религиозного отождествления подданного с Государем, он выдвинул, между прочим, следующий тезис: "Все люди должны стать троноспособными. Король есть средство воспитания к этой далекой цели" <<132>>. В такой формулировке этот тезис может оказаться неверным. Можно ли говорить обо всех людях, в том числе о малолетних, необразованных, глупых, бесчестных и преступных? И далее: что означает идея всеобщей "троноспособности", когда к самой сущности монархического строя относится исключительная "трона-право-способность" одного единого рода (династии)? И тем не менее Новалис выговаривает основную и глубокую тайну монархии, состоящую в том, что облик Государя не унижает подданных, а возвышает и воспитывает их к царственному пониманию государства и его задач. Истинный Государь воспитывает свой народ к царственному укладу души и правосознания силою одного своего бытия.

Здесь мы снова возвращаемся к идее ранга. Человек духовной высоты, ведающий свое достоинство и блюдущий свою честь, приемлет идею ранга легко и естественно; он не видит в этом унижения, наоборот: зная свой собственный ранг, он понимает, что его ранг измеряется и определяется объективно теми же самыми мерилami - духа, достоинства, чести и служения, - которыми он рад определять ранг других людей и которые определяют подлинный ранг его Государя.

Но это и есть именно то, чего почти не выносит республиканское правосознание. Иногда республиканцы выговаривают это прямо и откровенно. Так, однажды в одной из древнейших республик Европы мне пришлось беседовать с группой университетски образованных туземцев, причем я высказывал им свое воззрение на драгоценное значение чувства ранга. В ответ я получил нижеследующее разъяснение: "Вот это и есть то, чего мы не выносим. Мы не терпим в своей среде выдающихся людей (excellent). Если таковой находится, то мы всегда сумеем сделать ему жизнь столь трудной и горькой, что он не будет знать, что ему делать. Но если он все-таки, выдержав это все, добьется чего-нибудь, тогда мы после его смерти поставим ему памятник"... Выслушав это, я записал сказанное; и записывая, невольно вспомнил слова Петра Верховенского из "Бесов" Достоевского: "...не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами... Рабы должны быть равны... мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство" <<133>>... И вспоминая эти пророческие слова, я думал о том, что Верховенский и Шигалев заканчивали свою программу тоталитарным деспотизмом.

4

Итак, давно пора покончить с этим предрассудком пассивной приниженности граждан в монархическом государстве. Различие между республиканским правосознанием и монархическим правосознанием в этом вопросе следует искать не в пассивности, а в характере политической активности. Активность монархиста носит черты центростремительности, лояльности и ответственности перед главою государства. Активность республиканца отличается центробежным тяготением, развязывает личную инициативу, стремится вмешиваться во все государственные дела и старается сложить с себя ответственность перед избирателями. Все это требует внимательного удостоверения.

Однако этот тезис отнюдь не должен быть истолкован в том смысле, будто все республиканцы "несут свое государство розно" и лишены всякого чувства ответственности. Достаточно назвать Перикла в Афинах, Катона Старшего в Риме, Вашингтона и всех лучших президентов в Соединенных Штатах, Лафайета во Франции и многих других героев республиканской государственности для того, чтобы раз навсегда погасить такое истолкование. Точно так же отнюдь не следует идеализировать сторонников монархического режима, что мы, к сожалению, наблюдаем у монархистов и доселе на каждом шагу. Есть партийные монархисты, которым достаточно установить у кого-нибудь темпераментное предпочтение монархии для того, чтобы объявить его "замечательным мыслителем" или даже "богатырем духа". А между тем совершенно необходимо различать монархистов идеи и монархистов карьеры; среди последних найдется множество низких, беспринципных симулянтов и порочных льстецов наподобие Тигеллина или Шешковского. Однако верных проявлений монархического правосознания можно ожидать только от первых, тогда как вторые должны быть отнесены к самым опасным вредителям монархии. Дурные и низкие люди обретаются во всех партиях и лагерях; но мы имеем в виду не их, а верных осуществителей идеи - монархической или республиканской.

Итак, активность идейного монархиста центростремительна, лояльна и монархически ответственна. Он ведает и признает, что его государство имеет персональный центр, которому он призван служить не за страх, а за совесть; этот центр един и единственен во всей стране; к нему должна быть направлена энергия всех граждан; он есть источник публичных полномочий; перед ним все отвечают за лояльность своего

воленарправления, за законность своих поступков и за все последствия своей деятельности. Этот персональный центр объединяет государство и крепит его именно такой центростремительностью общих усилий. Это не значит, конечно, что монархист должен обращаться по всем делам за разрешением к монарху или что он сам по себе ни на что решиться не может. Но это означает, что он мыслью и волею возводит каждый акт государственного учреждения к закону, утвержденному Государем, или к указу, им изданному; далее, что он не мыслит никакой государственной реформы иначе, как исходящей в законном порядке от монарха; и наконец, - самое глубокое и интимное, - что он принимает самостоятельные решения и меры из той глубины правосознания, которая проверяет все достоинством монарха, его идеальным воленарправлением и народолюбием. "Нет, так я не могу поступить, ибо этот исход набросил бы тень на моего и нашего Государя"... Или: "Только такое решение я мог бы защищать перед лицом Государя, как единственно достойное его и его призвания"... Или еще: "если бы я был Государем, я разрешил бы этот вопрос только так и именно так, как подсказывает мне дух закона и мое естественное правосознание"... Здесь центростремительность, лояльность и ответственность сочетаются воедино со свободой личного правосознания, в его естественной правоте и в его монархической свободе.

То, что монархист желает осуществить в своей стране, - усовершенствования, реформы, жизненный и духовный расцвет своего народа, - он возводит к Государю с тем, чтобы желанное было принято и признано им и нашло в нем свой жизненный источник. Именно в этом заложен смысл права петиций и публичного (устного, печатного и парламентского) правдоговора.

Двадцатилетний Пушкин, достаточно наслышавшийся от декабристов о революции и республике, достаточно осведомленный о "щедрой" раздаче крестьян Екатериною и о военных поселениях Аракчеева, спрашивает как истинный и мудрый монархист:

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный  
И рабство, падшее по манию царя...?  
("Деревня")

с тем, чтобы через семнадцать лет добавить: "Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!" ("Капитанская дочка"). "Клянусь Вам моею честью, - писал он в возражение Чаадаеву, - что я ни за что не согласился бы ни переменить родину, ни иметь другую историю, чем история наших предков, какую нам послал Господь"... Именно к этому течению лояльного монархизма принадлежал Жуковский, Гоголь, Тютчев, Достоевский, славянофилы, Милютин, все совершители "великих реформ", П. А. Столыпин и все его сторонники и сотрудники. Все они действовали словом и делом, движимые монархической центростремительностью, лояльностью и чувством ответственности перед Государем и народом.

Совсем иного, прямо обратного, добивались русские республиканцы XIX и XX века - от Пестеля до Желябова, от народовольцев до республиканских вождей конституционно-демократической партии. Под обаянием этой идеи стояли многие из так называемых "западников", в том числе Белинский, Герцен, Чернышевский, Тургенев, Некрасов, Огарев, Салтыков-Щедрин, Михайловский и позднее социалисты-революционеры и социал-демократы. То, чего им недоставало, была именно национально-монархическая центростремительность и лояльность; то, во что они не верили и чего многие и не хотели, были реформы, исходящие от трона. Отсюда бунт декабристов; отсюда заговор петрашевцев; отсюда все покушения на императора Александра II, озлобленность и жестокость которых он сам не мог понять, когда после московского железнодорожного покушения со слезами на глазах спрашивал: "За что они так ненавидят меня?!" Ответ мог быть трагически прост: за творческое оправдание русского трона перед лицом народа и истории...

Казалось бы, после великих реформ для русской передовой интеллигенции была открыта дверь к лояльному доверию и активному самовложению в строительство России. И понятно, что необходим был срок в 25-30 лет для жизненного освоения этих реформ - на пути "малых дел" и жизненно-конкретных задач. Казалось, путь был найден: император становится во главе реформ и проводит их в порядке утверждения мнений совещательного меньшинства; передовой интеллигенции остается только воспринять и претворить эти реформы в жизнь, извлекая из них все верное и постепенно обнажая неудачное и ошибочное, обновляя и упрочивая Россию... Но именно этого-то и не хотели русские республиканцы: они предпочитали отвергнуть эти реформы целиком, работать над изоляцией Государя и над компрометированием его дела и наконец обратиться к прямому убиению его. Это неприятие благодетельных реформ политически понятно: эти реформы свидетельствовали о жизненности русской монархии и о ее государственно-творческой силе; они сближали царя с народом и укрепляли веру народа в царя. И в то же время они обличали историческую ненужность русского республиканства, его искусственность и слепую подражательность, его подсказанную честолюбием праздную надуманность. Если бы развитие пошло нормальным путем, то русским республиканцам оставалось бы только признать свою несостоятельность и ненужность и отойти в небытие; а русскому Государю надлежало исполнять свои дальнейшие предназначения: дать правовое оформление сотрудничеству монарха с государственно зрелыми кругами народа, ввести всеобщую грамотность и, наконец, укрепить частнособственническое крестьянское хозяйство.

Ни национально-патриотической центростремительности, ни лояльности, ни ответственности у русских республиканцев не оказалось. Им надо было любой ценой оторвать трон от народа и подорвать доверие народа к трону. Гибельность и утопичность своих положительных программ они, конечно, не понимали: декабристы не видели, что затеваемое ими безземельное освобождение крестьян наводнило бы Россию беспочвенным и безработным пролетариатом и вызвало бы новую пугачевскую "раскачку"; петрашевцы не понимали, что фурьеризму в России решительно нечего делать; идея черного передела вызвала бы новую смуту неслыханного размера; идеализировать общину в духе социалистов-революционеров было противогосударственно, хозяйственно-слепо и безнадежно; а что мог дать России последовательный "демократизм" и "федерализм" конституционалистов-демократов, - это достаточно наглядно обнаружилось в 1917 году...

Но если оставить в стороне беспочвенность и гибельность их программ, то обнажится их основная тенденция: подорвать доверие к Государю, изолировать его и любой ценой остановить тот поток обновления, который стал изливаться от трона. Им надо было разочаровать и напугать Династию, чтобы она усомнилась в полезности реформ, прекратила их и укрепилась в слепом консерватизме или даже в реакционности. Им надо было изобразить дело так, будто освобождаемый и привлекаемый к трону "народ" отвечает на это ожесточением и звериной ненавистью. Им нужны были, по верному слову П. А. Столыпина, "великие потрясения"; а для этого клевета против Государя и покушения на его жизнь могли сослужить им одинаковую службу. Идея "великой России" их не привлекала; они предпочитали, совершенно так же, как и ныне (сороковые и пятидесятые годы двадцатого века), анархическую систему малых республик, беспомощных, зависимых и враждующих друг с другом.

Рассматривая республиканское движение в России XIX и XX века, исследователь все время изумляется тому отсутствию чувства ответственности, которое республиканцы обнаруживают на каждом шагу. Им и в голову не приходит, что они судят о неизвестном, как о чем-то простом и ясном; что они не знают ни веры, ни правосознания, ни хозяйства, ни истории, ни соблазнов того народа, судьбами которого они хотят распоряжаться; что все политические суждения их отвлечены и схематичны, а по отношению к России беспочвенны и претенциозны; что у них нет никакого политического опыта, а есть только

заимствованная на Западе политическая доктрина. Отравленные бакунинской верой в то, что "дух разрушения есть созидательный дух", они ожидают "спасения" от исторического крушения России и воображают, что переход к демократической республике удастся русскому народу без особых затруднений<<134>>. И нужен был трагический опыт коммунистической революции в России для того, чтобы некоторые из них (немногие) вспомнили и поняли погибельную кривизну своих путей.

5

Не следует, впрочем, думать, будто недостаток центростремительности, лояльности и ответственности характеризует только русских республиканцев XIX и XX века. Эта стихия республиканской центробежности, которую мы наблюдали в России после февральской революции, когда каждый уездный городишко торопился объявить себя самостоятельной республикой и, по сообщению Половцева, образовалась даже особая "Шлиссельбургская Держава", где каждая волость считала себя равносильной американскому штату, а в Шлиссельбурге должен был заседать "союзный конгресс"<<135>>, - эта стихия соответствует, конечно, революционной эпохе, и в таком виде она в обычное время в республиках не проявляется. И тем не менее она заложена в самой глубине республиканства и живет в нем постоянно, хотя и прикровенно.

Центробежность, как политическое настроение, присуща республиканцу уже в силу того, что он выше всего ценит свободу, т. е. личную несценность в воззрениях, убеждениях и в образе действий. Республиканец прежде всего не желает авторитета и исходящего от него "давления". В сущности говоря, он стремится "вобрать в себя" весь и всякий авторитет; его основное настроение можно обозначить как политический "субъективизм" или "индивидуализм", а в крайних проявлениях как атомизм. Этот субъективизм может привести его и к признанию общественного мнения; но может и увести его в одиночество. Этот индивидуализм может привести его и к социальной программе, но при условии полной личной независимости. Именно поэтому католическая стихия и магометанская стихия, с их преклонением перед авторитетом, никогда не будут благоприятствовать республиканству, но будут тяготеть к монархии. Можно было бы сказать, что республика есть промежуточная форма или "станция" на пути от монархии к анархии. Достаточно представить себе множество республиканцев в состоянии последовательного политического субъективизма или республиканствующую толпу, протестующую против всякого авторитета, - и до анархии останется всего один шаг. Именно в связи с этим республиканцам присуща высокая оценка малой государственной формы и вера в федерацию. Республиканец - враг гетерономии; он во всем предпочитает автономию, к которой он слишком часто неспособен. Отсюда это обилие сект, партий и синдикатов в республиканских странах; и за всем этим живет сокровенная мечта об анархии. Можно было бы сказать, что распадение монархий редко приводит к образованию новых, малых монархий: обычно возникают малые республики. Классическим примером в истории является развитие английской империи: это есть история отпадения частей от метрополии, которая соблюдает свою монархическую форму, тогда как отпавшие в порядке центробежности части ее становятся республиками; таковы Соединенные Штаты, Ирландия, Индия, и, далее, Египет, а в будущем Южная Африка, Мальта и, возможно, другие "колонии". Так, на наших глазах две большие европейские монархии, Германия и Австрия, распались после первой войны на ряд республик.

Эта республиканская центробежность как бы дремлет в государствах, идущих к распаду, таясь в форме недостаточной лояльности отдельных граждан, конфессий, городов и национальностей. Прикровенный протест против гетерономии и авторитета как будто только и ждет благоприятного часа для того, чтобы проявить свою недостаточную лояльность, превратив ее из несочувствия в отпадение, которое центростремительные элементы обозначают тогда как "измену" (процесс К. П. Крамаржа в распадающейся Австрии).

И все это соединяется с тем своеобразным пониманием ответственности, которое столь характерно для всех демократий, в особенности же для демократических республик. Если в монархии всякий администратор и всякий политик чувствует себя ответственным в конечном счете перед Государем, то в республиках эта ответственность перемещается принципиально сверху вниз. Важно не то, что о тебе и о твоём образе действий думает глава государства, ибо он сам условно-срочен в своих полномочиях и авторитет его весьма невелик; важно то, как твоя деятельность расценивается "народом", т. е. неопределенной толпой малокомпетентных избирателей. Существенно не то, что я есмь, а то, "нравлюсь" ли я "общественному мнению". Но это "общественное мнение", голосующее и избирающее, остается жертвой субъективных настроений, поддающихся всякому влиянию: и лукавым нащептам, и открытой клевете, и эгалитарному предрассудку, и демагогии, и прикровенной выгоде, и интриге, и прямому подкупу. Демократия и республика подменяет предметную государственную ответственность - капризную популярность, беспредметным и некомпетентным голосованием толпы. Здесь люди опасаются не политических ошибок и не политической неправоты, а забаллотирования. Политический "успех" зависит не от того, что человек есть на самом деле, а от того, чем он прослышет. При этом интриганство, нечестность и подкупность повредят ему меньше, чем волевая самостоятельность, властная решительность и предметно-ответственное гражданское мужество. Республика предпочитает избирать несамостоятельных, угодливых, уклончивых нырял, людей "бледных", невыдающихся, не угрожающих никому своим превосходством и талантом, людей середины, умеющих скрывать свою волю, если она имеется, и свой ранг, если он выше среднего; демократия не любит сильных и выдающихся людей, прирожденных водителей... И тем, кто хочет делать карьеру в республике, - лучше скрывать свой настоящий духовный размер, "прибедняться", не "отпугивать" своих избирателей и подчеркивать свою любовь к равенству и свою особую демагогическую "лояльность" по отношению к толпе. Вот почему республиканцы предпочитают "не делать", чем "повредить себе деланием"; зачем рисковать волевой активностью, когда безобидная пассивность имеет у избирателей гораздо больший успех? Активный человек непременно наживет себе врагов среди избирателей: завистников, несогласных, понесших вред, шокированных его предприимчивостью и напором и т. д. Пушкин был прав, когда утверждал,

Что пылких душ неосторожность  
Самолюбивую ничтожность  
Иль оскорбляет, иль смешит,  
Что ум, любя простор, теснит...<<\*44>>

Этим объясняется и та боязнь ответственности, которая характерна для демократических республик. Ответственность обременяет человека при избрании, уменьшает его шансы, мобилизует его врагов. Поэтому "лучше" (т. е. субъективно выгоднее) не брать на себя никаких решений и свершений; лучше укрыться за коллективом, обеспечить себе непроглядную среду, свалить с себя одиум<<\*45>> непопулярного решения, подкинуть инициативу другому или другим. Отсюда искусство, напоминающее чернильных моллюсков, - укрываться в непрозрачной мути, спасаясь от врага и не давая возможности индивидуализировать вину и ответственность. Это политическое искусство процветает особенно в тех странах, где сильны закулисные организации, озабоченные взаимным укрывательством, как бы некоторой "изначальной" "амнистией", дарованной их членам по преимуществу. Понятно, до какой степени такой порядок вещей снижает политический уровень в стране. И если в монархиях всякая безответственность смущает и возмущает идейных монархистов, то в республиках ко взаимному укрывательству от политической ответственности общественное мнение привыкает незаметно и прочно.

## Глава седьмая

### ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ - 5

Наша попытка вскрыть те прикровенные душевно-духовные настроения, или, иначе, те бессознательные тяготения правосознания, которые являются основными и решающими для верных монархистов, с одной стороны, и для зрелых республиканцев, с другой, - будет закончена, если мы укажем еще на следующее.

1

Монархизм ценит прежде всего верность человека. Эта верность связывает его сразу с национальным духом народа, с государственной формой верховного единовластия и с личностью (соответственно с родом, династией) Государя. Монархист есть человек вернопреданный. Можно было бы сказать, что он живет прежде всего сердцем, причем его сердце облеклось в форму воли, руководится началом чести (национальной, царственной и личной) и ищет совестных путей.

Среди рыцарственно-геральдических формул или орденских "девизов" есть множество таких, которые свидетельствуют об их монархическом происхождении. Таковы, например, все девизы, говорящие о верности: "Блаженство в верности" (русский дворянский девиз), "Испытанной верности" (датский падеж, "a la lealtad acrisolada", испанский орден Изабеллы), "любовь и верность" ("amor e fidelidade", бразильский орден Розы), "усердие, преданность, верность" - турецкий орден Меджидие, "верность" ("Fidelitas", баденский династический орден), "за верность и веру" (русский орден Андрея Первозванного), "бесстрашен и верен" ("Furchtlos und treu", вюртембергский коронный орден), "непоколебимая верность" ("Immota fides", брауншвейгский орден Генриха Льва), "за веру, царя и закон" (русский орден Белого Орла), "верность, лояльность и патриотизм" (сиамский орден Хаккри), "в верности крепок" ("In traw vast", баварский орден св. Хуберта) и многие другие. Таковы же девизы, прямо говорящие о монархии: "Бог и Король" ("Gud og Kongen", орден датского Имперского Флага), "За короля и за закон" ("Pelo Rei e pela lei", португальский орден Башни и Меча), "D.S.F.R." ("Domine Salvum Fac Regem", "Боже, храни Царя", русский орден св. Екатерины), "За веру, государя и отечество" (сербский орден) и другие. Сюда же относятся девизы чести, например: "силен родовой честью" ("avito vicet honore", орден Вендского королевства, Мекленбург-Штрелиц), "Бог, Честь, Родина" ("Gott, Ehre, Vaterland", Гессенский орден Людвига, воспроизведен в Гондурасе "Dios, Honor, Patria"), "За честь Бадена" (баденский военный орден Карла Фридриха).

Есть, однако, девизы, которые умалчивают о верности, короле и чести. Многие из них, говорящие о Боге, о заслугах, о храбрости, о мужестве и усердии, выношены во времена монархии, но могли бы быть восприняты и республиканцами, если бы они вообще придавали больше значения духовным началам правосознания. Такова была, например, судьба французского девиза Почетного Легиона: "Честь и родина" ("Honneur et Patrie"); основанный в X году республики консульским декретом, этот орден был принят и обновлен при империи и в нынешней республиканской Франции это единственный существующий орден. Есть девизы, рожденные в монархии, но с ее идеей несколько не связанные: таков, например, высший английский орден "Подвязки" с его девизом "Nonni soit qui mal у pense" <<46>>, который легенда увязывает с фривольным событием на придворном балу <<136>>; впоследствии оно было прикрыто посвящением Богу, Богородице и св. Георгию. Идею служения выговаривают девиз принца Уэльского "Ich dien" <<47>> и аналогичные девизы. К Богу восходят следующие орденские девизы: ангальтский домовый орден Альбрехта-Медведя "Бойся Бога и исполняй Его веления" ("Fürchte Gott und befolge seine Befehle"), нидерландский орден оранско-нассауский "Господь да будет с нами" ("God sij med ons"), вюртембергский орден Фридриха "Господь и мое право" ("Gott und mein Recht"), баварский орден Михаила "Кто подобен Богу?" ("Quis ut Deus?"), орден герцогства Гессенского, восходящий к Филиппу Великодушному, "Если Бог с нами, кто против нас?" ("Si Deus nobiscum, Quis contra nos?"), орден

Индийской Звезды "Нас ведет небесный свет" ("Heaven's light our guide") и другие. Идею заслуги выговаривают орденские девизы савойский, итальянский, саксен-мейнингенский, гогенцоллернский, португальский, венесуэльский и другие. Идею научного и художественного творчества формулируют орденские девизы баварский и португальский. Идею мужества, характера и силы выдвигают следующие девизы: вюртембергский "Бесстрашен и верен" ("Furchtlos und treu"), испанский орден Золотого Руна "Я дерзнул" ("Je l'au empris"), мекленбургский орден Кондора "Я выше препятствий" ("Altior adversis"), гавайский Камехакеха орден "Будь мужчиной" ("E hookanaker"), японский орден Хризантемы "Возвышенные деяния и честные поступки", китайский орден дракона "Пред ним робеет лев и умолкает тигр", ганноверский орден гвельфов "И опасности не страшны" ("Auch Widerwärtigkeiten schrecken nicht"), прусский орден Красного Орла "Искренен и стоек" ("Aufrechtig und standhaft"), шотландский орден Чертополоха "Никто безнаказанно не оскорбит меня" ("Nemo me impune lacessit"), нидерландский орден Вильгельма "За мужество, ум и верность" ("Voor moed, beleid, trouw") и другие.

При внимательном рассмотрении всего этого и идеологического богатства приходится сделать вывод, что почти все эти девизы имеют монархическое происхождение, и монархическую историю, но что есть среди них такие, которые выговаривают не монархическую, а религиозную, нравственную и общегосударственную идею, идею здорового правосознания. Такие девизы легко могли бы быть приняты республиканцами, если бы они созерцали свою политическую форму в религиозно-нравственном освящении и в свете здорового и глубокого правосознания. Но их государство есть нечто светское и свободное от морали и правосознание их не любит никаких глубин и якорей. К чему им все это, когда глава их государства получает свое полномочие в силу капризно сложившегося большинства голосов, когда он становится "угодным" в данный момент (*rebus sic stantibus*) и отнюдь не должен быть ни большим, ни выдающимся человеком? Напротив, ему тем легче "пройти" через избирательную процедуру, чем менее он по "общему мнению" способен к самостоятельности, политической инициативе и волевым выступлениям. Кандидату в президенты республики гораздо легче сделать карьеру, если он будет держаться как "бледнолицый брат мой", диссимилировать<<\*48>> энергию своей личной воли, подделываться под средне-малых людей и не грозить никому своей личностью. К тому же "пожизненная верность" срочно избираемому чиновнику была бы беспочвенна и смешна.

2

Далее, истинный монархизм ценит волю к служению, как это и выговаривает девиз принца Уэльского, а не волю к личному выдвижению.

Было бы неверно истолковывать это обобщение в том смысле, что монархисты свободны от честолюбия. Трудно было бы найти столь наивного человека, который вздумал бы утверждать это. Исторические монархии изобиловали честолюбцами всех рангов и настроений, - людьми, стремящимися во что бы то ни стало подняться вверх и насладиться властью, богатством и почестями. Но все они подлежали суждению монарха и затем его обуздывающей власти.

Достаточно вспомнить хотя бы борьбу королей с феодалами во Франции, особенно при Людовике XI и в эпоху Ришелье, а также Фронду в эпоху Людовика XIV. Первая французская революция явилась победою республиканского честолюбия над идеей "короля" и "монархии", а затем низвержением честолюбивого республиканства силою ума и меча Наполеона Бонапарта. Весь девятнадцатый век эта борьба продолжалась с переменным успехом до тех пор, пока 30 января 1875 г. республика была окончательно признана в Собрании большинством одного голоса.

Подобную борьбу монарха с выдвигающимися, - то титулованными, то не титулованными честолюбцами, можно проследить в целом ряде стран. Обращаясь к русской истории, вспомним борьбу Иоанна Грозного с подозрительными для него "княжатами" и боярами.

Вспомним жалкое торжество "семибоярщины" в Смутное время и народную поговорку "лучше грозный Царь, чем Семибоярщина". Вспомним, как в Смутное время по исчезновении законного царя на Руси "безобразничала и шаталась вся правящая, владеющая среда" <<137>>; как бояре и князата в Москве творили свой заговорщический произвол; как бояре и воеводы "Митка Трубецкой и Ивашко Заруцкой" искали себе милостей у "Государыни Царицы... Марины Юрьевны и Государя Царевича Ивана Дмитриевича" <<138>>; как князья Гр. Шаховской и А. Телятевский были разбиты в Туле царем Василием Шуйским в качестве "воров", действовавших совместно с Болотниковым и одним из самозванцев ("Петрушкою"); как социально-революционные шайки, шатавшиеся по России, считали "не лишним иметь при себе какого-нибудь" самозваного "царевича" <<139>>, кой размножились тогда числом не менее 15 (Лже-Димитрий I, Лже-Димитрий II, тульский "царевич Петр Федорович", псковский Сидорка и на Поле царевичи "Август князь Иван", Лаврентий, Федор, Клементий, Савелий, Симеон, Василий, Ерощка, Гаврилка, Мартынка и т. п.) <<140>>... Вспомним, как при Михаиле Федоровиче были сосланы хищные честолюбцы и интриганы братья Салтыковы, стоявшие возле престола <<141>>. Как "тишайший Царь" Алексей Михайлович вынужден был, с одной стороны, заточить законного, но самовластного патриарха Никона, с другой стороны - низвергнуть и казнить посягающего авантюриста Степана Разина. Вспомним судьбу князя Ивана Хованского, думного дьяка Шакловитого, князя В. В. Голицына; вспомним стрелецкий бунт Цыклера, Соковнина и Пушкина, пострижение царевен Софии и Марфы, бунт Булавина, судьбу царевича Алексея; и далее, судьбу "всемогущего" Меншикова, судьбу князей Алексея, Василия и Ивана Долгоруких, князя Дмитрия Голицына, Артемия Волынского, Бирона, Остермана, Миниха, Сперанского, декабристов и других "завоевателей государственной власти", кончая графом Витте. Надо признать, что весь XVIII век в истории России прошел под знаком борьбы честолюбивых и властолюбивых вельмож и дворян за выгодное им престолонаследие (перевороты 1725, 1730, 1740, 1741, 1761, 1801 и 1825 годов, при которых погибли три монарха - Иоанн VI, Петр III и Павел I), и только при Николае I власть Государя упрочилась настолько, что "мнение меньшинства" могло быть утверждено его сыном и великие реформы шестидесятых годов могли быть проведены в жизнь. Историкам известно это классическое распределение сил в монархиях: царь добивается народных реформ вопреки аристократам, оптиматам и патрициям (так было в древней Греции, в Риме и в других странах).

Вот почему мы утверждаем, что често- и властолюбие встречается в монархиях тот контроль и отпор, которые отсутствуют в республиках. Самый переход от монархической формы к республиканской назревает в стране тогда, когда появляется, крепнет и организуется отбор свободолюбивого честолюбия, который усваивает обрисованную нами в предшествующих главах политическую ментальность. Чтобы отменить монархическую форму и ввести республиканскую, необходим активный кадр республиканцев, готовых не только к упорной оппозиции, но и к перевороту, и к революции, а может быть, и к царевубийству. И в этом отношении убийцы императора Павла - Пален, Бенигсен, Зубовы и другие - связаны нитью жуткого преемства с Желябовым, Перовской, Рысаковым и Гесею Гельфман, а эти, в свою очередь, - с Лениным, Свердловым, Войковым и Голощекиным.

Республиканская форма узаконивает стремление предприимчивого гражданина к захвату государственной власти. Она поощряет властолюбие и прямо предпосылает честолюбие; она развязывает политический карьеризм и открывает ему совершенно законные пути и средства. Человек должен доказать на деле, что он "кое к чему" способен, подыскать себе открытую или закулисную партию, которая согласилась бы "портировать" его кандидатуру, найти деньги для предвыборной агитации и добиться арифметического большинства в толпе голосователей, лишенных устойчивого критерия и не знающих его лично. Нормально говоря, захват власти в республике бывает ограничен пределами известной должности; однако ловкие политики умеют расширить эти пределы и добиться

полноты власти, подобно Сулле, Марию, Помпею, Юлию Цезарю, Октавиану Августу, Кромвеллю, Наполеону I, Наполеону III, Пилсудскому, Муссолини, Гитлеру, Ульманису и другим.

3

В связи с этим надо установить, что отличие монархической ментальности от республиканской обнаруживается еще в целом ряде особенностей, которых мы можем здесь коснуться только вкратце.

Сознательный и лояльный монархист, испытывая свою политическую ответственность, склонен не переоценивать свою силу суждения, допуская мысль, что ему с его "жизненного места" не все известно, не все "видно" и что компетентность Государя и его доверенных лиц может превосходить его личную компетентность. Это совсем не значит, что монархисту "не должно сметь свое суждение иметь", подобно Молчалину у Грибоедова; но это означает, что ему не чужда мысль о границах своей силы суждения, - мысль, которая должна быть присуща каждому академику и тем более каждому ученому исследователю. Монархическая лояльность как бы сдерживает человека, пробуждая его политическую ответственность и требуя от него осторожности в вопросах предметности, объема и категоричности его суждений. Драгоценное умение знать о своем незнании как бы входит в самую сущность монархического образа мыслей, являясь вечным призывом к самообразованию.

Совсем иначе обстоит дело у республиканца, и притом именно у демократического республиканца. Самая государственная форма его требует, чтобы он судил обо всем, воображая себя всезнающим и забывая о своей радикальной некомпетентности. Нет вопроса, который не мог быть предложен ему на голосование и разрешение; и чем чаще данная республика прибегает к форме плебисцита, т. е. всенародного непосредственного голосования, тем более распространяется фикция народного всезнания. Есть республики, которые подвергают всеобщему голосованию такие вопросы, которые требуют специальных познаний, административного опыта и детальной осведомленности. "На основании чего вы подаете свой голос - "за" или "против" определенного решения?" - спросил я однажды серьезного ученого, историка с мировой известностью. "Видите ли, - ответил он мне с образцовой честностью, - завтра мне надо голосовать сразу по трем плебисцитам, а я решительно не чувствую себя компетентным; чтобы голосовать сознательно, мне нужно было бы по каждому вопросу трехнедельную подготовку, а для этого у меня решительно нет ни времени, ни сил. В таких случаях голосуешь на авось"...

Такое голосование, считающееся осуществлением настоящей республиканской свободы и полного народоправства, оказывается совершенно неизбежным, причем надо еще принять во внимание сложность современной общественно-государственной и хозяйственной жизни и юридическую многозначительность каждого слова в каждом предлагаемом законопроекте. Ответственные люди только и могут воздерживаться от таких слепых голосований: безответственные - или следуют партийной директиве, или продают свой голос, или же решают дело "на авось". Но мудрая русская поговорка недаром говорит: "небоськины города стоят не горожены, авоськины дети бывают не рожены". Таким образом, республиканство означает притязательность политической силы суждения и ведет к безответственности в политике. Само собой разумеется, что та же самая беда грозит и монархиям, которые вводят у себя всеобщее и равное голосование, или, что еще хуже, плебисцитарную форму. Опыт "учредительного собрания" в России в 1917 году должен был бы сделаться незабываемым уроком для всего человечества.

4

Нельзя, далее, не упомянуть о том, что монархический уклад души умеет ценить начала дисциплины и субординации, тогда как республиканство недвусмысленно предпочитает начало личной инициативы и форму координации.

Это обнаруживается во всех жизненных формах и на всех ступенях бытия, особенно же в семье, в школе и в армии. Для монархии характерен более или менее авторитарный строй семьи, в котором отец - все еще домовладыка, а мать - все еще хранительница "священного очага"; здесь дети почитают родителей, считаются с их волею и приемлют от них и наставление и наказание. Республиканский строй семьи тяготеет к своеобразному "равенству" двух и даже трех поколений; он противится семейной субординации и дисциплине; естественное старшинство и первенство родителей становится какой-то устаревшей фикцией, отжившим предрассудком; моно-гамия и моно-андрия расшатываются, а с ними вместе исчезает и мон-архический корень древней семьи.

Для монархии характерна школа, построенная на авторитете преподавателей и начальников, школа строгая, с субординацией, дисциплиной, военной гимнастикой и взысканиями. Республиканская школа ослабляет все эти нити и узлы. Она строит школу не на субординации, а на неформулированной или по-разному формулируемой "координации". Исключить субординацию совсем ей не удастся; но она пытается сгладить ее углы и шероховатости, смягчить ее остроту и внести возможно больше "товарищеского" духа в общение преподавателя с учениками. При наличии нравственно-высокого уровня у детей и большого жизненного такта у преподавателя - это может дать благие результаты. При других условиях это может быстро разложить школьное дело, что мы и видели в послереволюционной России.

Но губельнее всего внесение последовательного республиканского строя может отразиться на армии. Армия служит прежде всего войне, она есть орудие национальной победы; она воспитывает к победе и солдат, и офицеров. Победа же есть достижение совместное, коллективное; и тот, кто ведет армию к победе, должен быть уверен не только в одинаковом, выдержанном повиновении подчиненных, но и в их готовности к крайним, героическим усилиям в деле повиновения. Солдат должен обладать способностью проявлять величайшую выдержку и извлекать из себя величайшие усилия, ведущие его не только на жизненный риск, но иногда и просто на смерть - то и другое по чужому велению. Для этого необходима воинская дисциплина, начинающаяся с внешних проявлений и подготавливающая человеческую душу и волю до самой глубины. В бою нет места личному, не координированному произволению; а потому его нет и в "учениях", и в смотрах. Но это не значит, что бой не терпит творческой инициативы: глазомера, тактической импровизации, а иногда и стратегически непредусмотренного начинания.

Дисциплина отнюдь не означает палочного или побойного обхождения. Это русские Государи и полководцы постигли давным-давно. И тогда как Пруссия, например, практиковала побои в армии, чуть ли не как основу дисциплины, - Петр Великий воспретил бить солдата, а от него это восприняли Миних и Суворов. Здесь надо установить, что военная доктрина Суворова вообще являла гениальный синтез монархической дисциплины и республиканской инициативности, именно в учении его о том, что солдат должен разуметь всякий свой маневр, относиться к нему сознательно и осуществлять его, хотя и по распоряжению командира, но в то же время по собственной инициативе: он должен присутствовать в каждом своем боевом деянии - совестью, волею и инстинктом: и только при таких условиях он будет на воинской высоте. Замечательно при этом то обстоятельство, что Суворов пришел к этой доктрине, исходя от православной веры в духовную личность и бессмертную душу каждого человека.

Это доказывает, что воинская дисциплина при настоящем понимании оказывается наиболее могучей и успешной именно тогда, когда она несомна свободным человеком, - совестно, честно, предметно и инициативно. Это доказывает также и то, что монархическое начало не только совместимо с духовной свободой, но что оно достигает своей настоящей жизненной высоты именно тогда, когда духовная свобода приемлет и осмысливает монархию "не только за страх, но и за совесть" <<142>>.

Тот, кто захотел бы убедиться в неприменимости последовательной республиканской идеологии к делу армии и войны, тот должен был бы вспомнить

коварно-разрушительный "Приказ № 1", составленный и опубликованный в феврале - марте 1917 года. Он провозглашал в армии - в отмену гетерономной дисциплины, хотя бы и насыщенной духовною свободой, - чисто республикански-демократический порядок: ограничение прав начальника, вызывающее утверждение прав подчиненного, избирательный порядок, контроль солдатской толпы над офицерами, "ничего без согласия" солдатни и т. д. и т. д. Этого было совершенно достаточно, чтобы разложить армию; мало того, этот порядок не мог бы не разложить и свежую, и победоносную, и кадровую армию; что и совершилось в течение нескольких месяцев. Слепая переоценка принципов "избрания", "координации", "свободы", "контроля снизу" и "прав субъекта", вообще несет республиканцу все опасности и соблазны анархии. К этому нельзя не добавить, что такая же слепая переоценка принципов "назначения", "субординации", "несвободы", "бесконтрольности" и "личного бесправия" несет все свои опасности и соблазны формальному и непрозорливому монархисту.

5

Обычно считается, что монархисты воплощают собою "реакцию" или начало "застоя", а республиканцы являются двигателем "реформ" и "прогресса". Вряд ли это соответствует исторической действительности.

С одной стороны, нам известны монархии, стремительно проходившие через эпоху великих и притом прогрессивных реформ, например Россия при Петре Великом и Александре II, монархическая Германия, погасившая у себя в первой половине XIX века крепостное право и реформировавшая свою законодательную процедуру и все свое право во второй половине того же века; Италия при Викторе Эммануиле III (реформы Муссолини). Именно монархи не раз обнаруживали в истории свою склонность к социальным реформам; Фюстель де Куланж вспоминает об этом в словах: "цари опирались на народ и приобретали себе союзников в лице плебса и клиентов" <<143>>.

С другой стороны, республиканство, как таковое, нисколько не обеспечивает стране прогрессивные реформы. Так, аристократические республики древней Греции нередко доводили свои государства до беспощадной гражданской войны, не желая идти навстречу низшим классам. "Высшие классы у древних, - пишет Фюстель де Куланж <<144>>, - никогда не владели достаточной умелостью и ловкостью для того, чтобы поставить бедняков на путь труда и помочь им выйти честным образом из нужды и разврата"; отсюда постоянное колебание "между двумя переворотами: один из них отнимал у богатых все их имущество, другой - возвращал их к обладанию их состояниями"... Возникла кровавая, длительная и ожесточенная классовая борьба, в которой республики разлагались и гибли. И "нельзя сказать, на какой стороне из этих двух партий было больше злодейств и преступлений". Вспомним проскрипционную борьбу в республиканском Риме между Марием ("демократы") и Суллою ("оптиматы"), ее развитие и увенчание цезаризмом. Спросим себя, какими "прогрессивными реформами" может гордиться Третья Французская республика, осуществляющая, по-видимому, "последнее слово демократии"?

Вывод, который мы из всего этого могли бы сделать, звучал бы так. Монархический строй умеет ценить и блюсти добрые традиции; опасность его состоит в том, что вместе с добрыми традициями он будет поддерживать во бы то ни стало и дурные традиции и что косный традиционализм и консерватизм помешает проведению творческих необходимых реформ. А республиканский строй, с виду развязывающий себе руки для всяческого новаторства и добывающийся его, способен к тому, чтобы из революционного духа порвать и убить все благие традиции и обратиться к такому "новаторству", которое станет сущим проклятием для всего народа. Живые примеры тому мы находим в истории первой французской революции и современной коммунистической революции в России.

6

Гораздо больше оснований имеется для того, чтобы установить тяготение монархического строя к властной опеке над народом и тяготение республиканского, особенно же демократически-республиканского, строя к самоуправлению во всех делах и начинаниях.

Дело в том, что государство как "многоголовый" или совокупный субъект права может строиться по принципу "учреждения" или по принципу "корпорации".

Жизнь учреждения (например, больницы, гимназии) строится сверху, а не снизу. Это означает, что люди, заинтересованные в деятельности этого учреждения, получают от него благо и пользу в том порядке, который предписывается самим учреждением; они не формулируют самостоятельно ни своего, общего им всем интереса, ни своей общей цели. Они не имеют и полномочия действовать от лица учреждения. Они "проходят" через него, но не составляют его и не строят его. Они послушно принимают от учреждения - форму жизни и деятельности, распоряжения, заботы, услуги и благодеяния. Не их слушаются в учреждении (больных, гимназистов), а они слушаются в учреждении. Учреждение само решает, принимает оно их или нет; и если принимает, то на каких условиях и доколе. Они не выбирают его органы и не имеют права "дезаурировать" или сменять его должностных лиц; и далеко не всегда могут самовольно отвергнуть его услуги и "уйти". Следовательно, учреждение строится по принципу опеки над заинтересованными людьми. Оно имеет свои права и обязанности, свой устав, свою организацию; но все это оно получает не от опекаемых; оно не отчитывается перед ними и должностные лица не выбираются опекаемыми, а назначаются. Больные в больнице не выбирают врачей; дети в детском саду не могут сменить свою воспитательницу; гимназисты в гимназии не вырабатывают себе программу преподавания; эпилептики не назначают себе режима; преступники не могут изменить порядок своего заключения; солдаты, выбирающие себе офицеров и главнокомандующего, суть явление бредовое; кадеты не могут самовольно выйти из кадетского корпуса; студенты принимаются в университет, но не определяют его целей и задач, и профессора не слушаются их распоряжений. И поскольку государство есть не более, чем учреждение, постольку народ в нем не управляет собою и не распоряжается, а получает свой правопорядок и все его блага (безопасность, гарантию прав, правосудие, финансовое управление, лечение, просвещение и т. д.) в порядке опеки, повиновения и воспитания. Понятно, что принцип учреждения, проведенный последовательно до конца, погасит всякую самостоятельность граждан, уьет свободу личности и духа и приведет к тоталитарному строю и его каторжным порядкам.

Напротив, корпорация строится не сверху, а снизу. Она состоит из активных, уполномоченных и первоначально равноправных деятелей. Они объединяются в единую организацию по своей собственной воле: хотят - входят в нее, не хотят - выходят из нее (клубы, кооперативные общества и т. д.). Эти люди имеют общий интерес и вольны признать его или отвергнуть. Если они признают его и входят в эту корпорацию, то они тем самым имеют и полномочие участвовать в ее организации. Они уполномочены формулировать свою общую цель, ограничивать ее, выбирать голосованием необходимые органы, утверждать и дезавурировать их, "отзывать" свою волю, погашать свои решения большинством голосов... Корпорация начинается с индивидуума, с его мнения, изволения и решения; с его свободы и интереса. Она строится снизу вверх и основывается на голосовании; она вырастает из свободно признанной солидарности заинтересованных деятелей. И поскольку государство есть корпорация "чистой воды", постольку оно принимает и последовательно проводит принцип "все через народ"; и самые учреждения его, без которых ни одно государство все же не может ни жить, ни действовать, - оказываются подлежащими корпоративному контролю. Понятно, что принцип корпорации, проведенный последовательно до конца, погасит всякую власть и организацию (правом индивидуального выхода, неповиновения или даже, по древнепольски, правом "liberum veto" <<\*49>>); тогда государство разложится и начнется анархия.

Таким образом, предел учреждения - тоталитарная тюрьма; предел корпорации - всеобщая анархия.

На самом же деле государство в своем здоровом осуществлении всегда совмещает в себе черты учреждения с чертами корпорации: оно строится и сверху, и снизу, и по принципу властной опеки, и по принципу выборного самоуправления. Ибо есть такие государственные дела, в которых необходимо властное распоряжение; и есть такие дела, в которых уместно и полезно самоуправление.

Корпоративный строй требует от граждан зрелого правосознания: самообладания, чувства собственного духовного достоинства, разумения державных и особенно великодержавных задач, искусства блюсти свободу, знания законов культуры, политики и хозяйства. Нет этого, и все разложится. И вот ко всем гражданам с незрелым и дефективным правосознанием (дети, несовершеннолетние, душевнобольные, дикари, политически-бессмысленные, уголовно-преступные, аномальные, жадные плуты и т. д.) государство всегда останется учреждением. Однако и остальные люди живут на свете не для того, чтобы растрчивать свое время и народное терпение на политические распри, партийную агитацию и голосование. Политика отнюдь не должна поглощать духовные силы и творческий досуг народа. Кипение в политических разногласиях, страстях и интригах есть своего рода "ярмарка тщеславия", азарт честолюбия, школа интриги, скачка с препятствиями, растрата народных сил и жизненных возможностей. В довершение всего - политическое дело требует особых знаний, и не только от активных деятелей, но и от голосователей; оно требует изучения, подготовки, опыта и таланта, которыми "все" никогда не обладали, да и не будут обладать. Политическое строительство всегда было и всегда будет делом компетентного меньшинства. Корпоративный строй растрчивает народные силы; строй учреждения, если он на высоте, экономит их.

Опасность "учреждающего строя" состоит в том, что он, ссылаясь на приведенные нами соображения, сделает вывод, что зрелое правосознание вообще недоступно гражданам, а потому не следует заботиться о его воспитании и укреплении. Этим он запустит и обессилит не только правосознание своих граждан, но и "монархизм" их правосознания. Темная толпа может иметь монархический инстинкт; но такой инстинкт будет всегда удобопревратным, а потому будет однажды соблазнен, извращен и разложен. Пути к анархии ведут не только от чрезмерностей республиканства, но и от беспочвенных и невоспитанных монархических настроений. Россия испытала это за последние века четыре раза: в Смуте, при Разине, при Пугачеве и во время большевистской революции.

Итак, надо признать, что монархическое тяготение к учреждающему строю должно найти свой предел в воспитании: граждане монархии должны воспитываться к корпоративному смыслу и умению. Нелепо строить государство по схеме больницы, школы или тюрьмы. Ибо государственно зрелые граждане - не больные и не школьники; они суть строители государства; их осознанная солидарность драгоценна, их политическая активность выражается в политическом служении, их публично-правовая уполномоченность зиждительна не только тогда, когда они назначены сверху, но и тогда, когда они избираются снизу.

А это означает, что монархист, организующий свое государство, должен считаться прежде всего с наличным в данной стране и в данную эпоху уровнем народного правосознания, определяя по нему то жизненное сочетание из учреждения и корпорации, которое будет наилучшим при данных условиях жизни.

Таковыми условиями являются:

1. Размеры территории: чем больше территория государства, тем необходимее сильная центральная власть и тем труднее проводить корпоративный строй.
2. Плотность населения: чем плотнее население в стране, тем легче организация страны; малая плотность может сделать форму учреждения совершенно необходимой.
3. Державные задачи государства: чем грандиознее они, тем меньшему числу граждан они доступны и понятны, тем труднее осуществление корпоративного строя.

4. Хозяйственные задачи страны: с примитивным хозяйством маленькой страны легко справиться и республиканское государство.

5. Национальный состав страны: чем однороднее он, тем легче народу самоуправляться.

6. Религиозное исповедание народа: однородная религиозность облегчает управление, многообразная - затрудняет; обилие воинствующих исповеданий и противогосударственных сект может стать прямой опасностью для государства.

7. Социальный состав страны: чем он первобытнее и проще, тем легче дается народу солидарность, тем проще управление.

8. Уровень общей культуры и особенно правосознания: чем он ниже, тем необходимее форма учреждения; полуобразованность будет добиваться республики; истинное образование постигнет все преимущества монархии и всю ее творческую гибкость.

9. Уклад народного характера: чем устойчивее, духовно самостоятельнее личный характер у данного народа и чем меньшим темпераментом он отличается (флегма!), тем легче осуществить корпоративный строй; народ, индивидуализированный не духовно, а только биологически, и притом бесхарактерный и темпераментный - может управляться только властной опекой.

Все это имеет значение, конечно, только при прочих равных условиях.

Теперь мы можем сказать, что идея "государства-учреждения" представлена в истории началом монархическим (и диктаториальным); главное орудие его - закон и указ; ему необходимо крепить чувство законности и дорожить им. Идея же "государства-корпорации" представлена в истории началом республики (и демократии); главный способ его жизни - договор и голосование; ему необходимо крепить чувство свободы и блюсти ее границы, дабы свобода не выродилась в личное произволение, в коррупцию и анархию.

7

Из всего этого видно, что монархическому правосознанию присуще тяготение к единению и единству, к интеграции и соответственно к сосредоточению национальной энергии в едином лице, к которому направлены все волевые лучи, создающие его силу и укрепляющие его действие (аккумуляция). Этот процесс аккумуляции, т. е. собирания духовных сил в одном, их сосредоточения, усиления, укрепления, "интенсификации" и "потенцирования" (т. е. увеличения духовной, волевой и политической мощи Государя), составляет самую сущность истинной монархии. В этот процесс вовлекается весь народ, оказывающийся солидарным в созидании и укреплении этого единого и общего, полновластного личного центра страны. Процесс этот должен быть охарактеризован как политически-органический, т. е. процесс национального духовного взаимопитания и совместного укрепления; он сращивает народное множество и в этом смысле может быть обозначен как "кон-кретный" (сращивающий, сращенный).

Напротив, республиканскому правосознанию, отменяющему и разрушающему это духовно-политическое центрирование, присуще тяготение к коловращению вокруг пустого места: ибо президент, периодически избираемый из политически "бледнолицых", малоуполномоченных (президент Соединенных Штатов составляет исключение!), "ничем не грозящих", но и "ничего не обещающих", послушных политиков, никак не может создать центра для национальной аккумуляции. Республиканское правосознание совсем и не верит в это и не дорожит этим. Оно дорожит свободным многообразием мнений и предается вольной дифференциации, ведущей к разногласию и разномнению. Здесь цветет стихия политической конкуренции, приводящая к раздельности, к личной, групповой и классовой борьбе. Отсюда эти черты дискретности (т. е. разъединенности) и атомизма (или распыления), присущие республикам. Если монархическое государство есть прежде всего единство и лишь в его пределах - множество, то республиканское государство есть прежде всего множество, всегда стоящее перед задачей объединения. Это объединение достигается в действительности лишь в меру, в какую удастся выработать

арифметическое большинство голосов, вечно срываемое изощренными мероприятиями агитации, партийных группировок, перекройки программ или прямыми (то парламентскими, то вне-парламентскими) интригами меньшинства. Для примера достаточно вспомнить парламентский трюк английской рабочей партии, осуществленный в середине XX века, который состоял в том, что множество членов ее сделало вид, что покидают здание парламента и уходят домой с тем, чтобы в момент голосования вдруг вынырнуть из глубоких кулуаров и сорвать голосование консервативной партии.

Эта вера в арифметическое большинство придает республиканскому строю характер механический и случайный; памятником этого осталось французское парламентское голосование 1875 года, в котором республиканский строй был предпочтен монархическому большинством одного, единого голоса.

Таково в общих чертах различие между монархическим и республиканским правосознанием.

### **ИЗ ЛЕКЦИЙ "ПОНЯТИЯ МОНАРХИИ И РЕСПУБЛИКИ" ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ МОНАРХА**

Я уже указал на то, что доверие к царю образует первое и основное условие не только прочности монархии, но и просто самого существования ее. (...) И нужно признать, что если мы начнем внимательно читать мировую идеологическую литературу о монархии, то мы увидим эту всюду проявляющуюся заботу о том, чтобы царь помнил, что он не должен нарушать доверия подданных к себе, но, напротив, - питать его и укреплять.

Редкий народ не имеет своего выработанного, выстраданного образа "хорошего" или даже "идеального" царя. И почти повсюду мы находим указания на то, что царю должно быть присуще особого рода внутреннее духовное делание, которое должно придать ему необходимые ему свойства, ставящие его на подобающую ему высоту, делающие его достойным того отношения к нему со стороны подданных, которое составляет самое естество царской власти. В основе этого внутреннего делания, в коем царь должен пребывать, лежит религиозность. Это могло бы быть ясно уже и из того, что я раньше говорил о мистическом восприятии монархии, присущем монархическому правосознанию. Я касаюсь этого сейчас исключительно с точки зрения доверия подданных к монарху. Это доверие должно иметь некоторое последнее основание: уверенность подданных в том, что монарх сам ставит себя перед лицом Божие и сам измеряет свои дела и решения критериями божественного откровения; это понятно - ибо нет на земле единения людей более могучего, как единение их перед лицом одинаково веруемого Божества. Торжественное поставление себя перед лицом Божие и выявление своего религиозного лика - вот смысл, основной смысл всякой монаршей присяги и всякого коронования. Так бывало во все времена и у всех народов: царь и народ соединяются в доверии, ставя себя перед лицом Божие. Здесь особенное значение приобретает едино-исповедность монарха и народа: доверие предполагает единоверие и питается им.

(...) Еще в книге Ману было намечено и затем в Риме, в Средние века и особенно в старой России встречается учение о двойном составе царского существа: божественном и человеческом.

Через обряд или без обряда - но в сокровенной глубине царской души утверждается некая священная глубина, качественно высшая по сравнению с обыкновенными людьми и призванная к тому, чтобы подчинить себе и обычно-человеческое, страстное и грешное, земное сердце царя. Горе царю, если он этого подчинения не соблюдает, если он сам не культивирует в себе эту священную глубину - духа, любви, благой воли, справедливости, мудрости, бескорыстия, бесстрастия, правосознания и патриотизма. Книга Ману исчисляет все соответствующие пороки или хотя бы слабости царя и непрестанно договаривает об их последствиях: "Божья кара истребит царя, уклоняющегося от своего долга, царя и весь его род".

Этот двойной состав царского существа - духовно-божественный и человечески-грешно-страстный - различали и в Египте: я описывал вам жертвоприношение фараона, со жрецами и народом - перед собственной своей статуей. Духовно-божественный состав царя является художественно-объективированным; это то, чем царь должен быть; это его, заложенная в его сердце, потенция - его платоновская идея, предносящаяся ему в небесах; или лучше - его аристотелевская энтелехия, имманентная его существу, но в данный момент созерцаемая им "вѣну" <<\*50>> - в художественном образе идеальной статуи; понятно, что молитва гласит - дай мне стать в жизни объективным идеалом царя - царем праведным и совершенным, подобным Богу.

Ясно, что сердце царя может быть в руке Божией, должно быть в руке Божией, призвано к этому - и в глубине своей уже находится в ней; но может и обособиться. Именно эту сторону императорского существа римляне и называли "noumen imperatoris" или "genius imperatoris", т. е. умопостигаемая сущность императора; именно ей ставили жертвенники и совершали возлияния. Как указывает Ростовцев, genius - это "творческая сила императора", noumen - "божественная часть его существа".

Историки устанавливают, что между римлянами и христианами-мучениками до известной степени имелось взаимное непонимание, ибо христиане не хотели молиться грешному человеку, к чему их вовсе и не принуждали; а римляне возмущались на то, что христиане не хотят признать священную глубину императорского призвания и императорской идеи как основу государственности, - что христиане потом, начиная с Константина Великого, не только признавали, но даже еще с немалыми преувеличениями.

В Риме был обычай - говорить императору похвальные речи, в которых его естество всячески превозносилось как богоподобное; казалось бы, превозносимому полубогу подобало бы слушать эти льстивые хвалы - сидя или лежа. Однако в действительности это была не лесть, а нотация; проповедь; указание монарху на то, каким он должен и призван быть; это была хвала его ноумену - и император всегда слушал эти речи стоя, почтительно стоя перед своим ноуменом (Caesare stante dum loquimur <<\*51>>).

Замечательно, что всюду, где этот двойной состав царского естества упускался или забывался - и царь начинал воображать, что его земное естество непогрешимо, а подданные или тупо верили в это, или льстиво уверяли его в этом - всюду начиналось вырождение монархического правосознания, вырождение и разложение монархии. Таково именно было положение в восточноазиатских деспотиях.

Эти восточные нравы прошли через века и сохранились до XIX века. Наполеон I видел их и сказал однажды поэту Лемерсье: если бы вы побывали на Востоке, "вы увидели бы страну, где государь ни во что не ставит жизнь своих подданных и где каждый подданный ни во что не ценит свою жизнь: вы бы излечились от вашей филантропии" <<145>>.

При таком положении дела оказывается, что у царя есть особое призвание - культивировать в себе свой ноуменально царственный состав, священную глубину своего духа - свою волю, свою благую волю, свою совесть, свое бескорыстие, свою зоркость и прозорливость, свою справедливость - мало того: все свои личные силы и способности, дары и вкусы, и поступки в порядке очищения и облагорожения. Ибо царь есть государственный центр и источник спасения и строительства своего народа.

Что́ есть царь - безвольный, злой, жестокий, несправедливый, заносчивый, мстительный, безответственный? царь, лишенный чувства чести и достоинства? царь развратный, порочный, лишенный правосознания, партийный и преступный? царь интриган и картежник? Ответ ясен: всенародное несчастье и источник всенародной гибели; и соответственно - главный источник компрометирования и подкапывания монархической идеи. Отсюда идея и проблема: а) идеального царя; б) царственного характера и царственного воспитания; в) царской религиозности как самодеятельного очищения и углубления; д) главное - центральная проблема всей монархии - вопрос о связи всенародного правосознания с правосознанием самого царя. В этом последнем -

едва ли не самое существенное из всего того, что подлежит исследованию и разрешению в монархическом правосознании. Все эти проблемы очень сложны и утонченны; и здесь могут быть только задеты мимоходом.

Образ идеального царя или - что то же - систематическое исследование и описание царских добродетелей и царских обязанностей занимало народы искони: от Конфуция и Будды до Фридриха Великого, от Ксенофонта и Марка Аврелия до Боссюэ, до Феофана Прокоповича, Жуковского и Чичерина. И несомненно, что каждый народ в каждую эпоху трактовал эту проблему по-своему, исходя из религиозных и нравственных воззрений своего времени.

Быть может, самое замечательное, что до нас дошло в этом отношении, есть "Книга Великого Научения", приписываемая Конфуцию. Ее первоначальный текст содержит всего около 75 строчек, к которым имеется 1546 примечаний и пояснений, приписываемых ученикам Конфуция. Тысячелетиями книга эта преподавалась в китайских гимназиях всем, начиная с 15-летнего возраста.

Не менее поучителен, а художественно несравненно сильнее записанный в буддийском каноне Трипитака диалог "О пользе аскетизма", приписываемый самому Будде. В молитвенно-учительное собрание буддийских монахов, заседающее в лесу, на поляне - их 250 человек, а молитвенная тишина такая, что прибывшие вновь недоуменно вопрошают: "где же это собрание, что не слышно даже дыхание 250 человек?" - прибывает царь, томящийся вопросом о том, есть ли от аскетизма какая польза и в чем она? И так как никто не может успокоить его, то он идет к самому Будде и заставляет его говорить на эту тему. Будда развивает ему с величайшим глубокомыслием и тонкостью идею о том, что аскетизмом душа очищается, прозревает в грехах и слабостях своих и находит великие, верные и спасительные пути жизни. Потрясенный чистотой и мудростью учителя, царь публично кается в том, что он убил короля, отца своего, и завладел его троном. "Грех завладел мною, учитель! Как глупца, как безумца, как грешника победил он, учитель, меня, что я отца моего, праведного и истинного царя лишил жизни из-за власти. Дай же мне, учитель, исповедать здесь грех мой как грех и помоги мне, о возвышенный, в будущем". Будда принимает его покаяние и отпускает его. И по отбытии царя говорит монахам: "Потрясен, о монахи, этот царь: растерян, о монахи, этот царь. Если бы этот царь, о монахи, не лишил жизни своего отца, праведного и истинного царя, - то на этом месте еще (где он сидел), для него взошло бы отстоявшееся и омытое око истины". Идея диалога ясна: не может править своим народом царь, не очищающий духа своего покаянием и религиозным созерцанием<<146>>.

Итак: к самой сущности монархического правосознания относится идея о том, что царь есть особа священная и что эта священность является не только источником его чрезвычайных полномочий, но и источником чрезвычайных требований, предъявляемых к нему, и источником чрезвычайных обязанностей, лежащих на нем. Эти обязанности суть прежде всего обязанности внутреннего духовного делания и самовоспитания; в большинстве случаев эти обязанности осмысливаются как религиозные. И среди них - основная обязанность царя: искать и строить в себе праведное и сильное правосознание.

### **ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛАНИЕ МОНАРХА И ЕГО КАЧЕСТВА**

Вторым условием доверия со стороны народа к монарху является известный уровень нравственности и характера, который должен быть у монарха.

Идею о добродетели монарха особенно ярко почувствовал и сформулировал азиатский Восток: напомним вам китайскую литературу - древнюю летопись Шу-Кинг и особенно уже цитировавшуюся мною "Книгу Великого Научения" Конфуция, а также книгу законов Ману - я цитировал и ее. Тот же мотив можно найти у Зороастра и Ксенофонта в его "Воспитании Кира". Аристотель прямо ставит вопрос: "Если начальствующее лицо не будет скромным и справедливым, как оно может прекрасно

властвовать?"<<147>> - "Нельзя хорошо начальствовать, не научившись повиноваться"<<148>>.

Может быть, Восток так внимательно отнесся к этой идее именно потому, что слишком много страдал от недостаточной добродетели монархов. Так, разложение императорского двора и его добродетели было несомненно одной из существенных причин крушения Византии: историк Византии констатирует, что "в течение 900 лет на престоле сидели люди очень различные по своему происхождению, по воспитанию, характеру и нравственным качествам. Среди этих разнообразных фигур (от Юстиниана до взятия Константинополя турками было 59 царей) можно отметить несколько типов. Цари в меру жестокие - и жестокие исключительно; цари ко всему равнодушные, кроме разгула, пьянства и женской ласки; беспечные самодержцы, предоставляющие управлять государством - своим любимым сановникам; цари-полководцы и в виде исключения - цари, занимающиеся наукой"<<149>>. "К царским привычкам, пагубно отзывавшимся на благосостоянии народа, относится и обыкновение растрачивать государственную казну на свои удовольствия. Своих частных средств византийские императоры не отличали от государственного казначейства и часто их совсем не имели. Чревоугодие и бесцеремонное обращение с казенными деньгами составляло общее правило во дворце". "Своей зверской расправой некоторые цари даже с византийской точки зрения превосходили все пределы и население, привыкшее к покорности, доводили до отчаяния и до бешеного самосуда. В самом начале VII века престолом насильственно завладел Фока (602-610), грубый солдат, дослужившийся до сотника, - свирепый характер - он убил не только свергнутого им императора Маврикия, но и пятерых его сыновей - думал упрочить свое положение устрашением - 8 лет терпели византийцы венценосного деспота, но наконец и защищавшая его городская партия зеленых превратилась в его врагов". "Через 75 лет после Фоки - византийский народ испытал власть не менее жестокого императора Юстиниана II. Он не пощадил родной матери и даже ее подверг нещадному телесному наказанию" и т. д. Историк отмечает, что ужас византийских порядков состоял в том, что "за бессмысленными казнями следовал свирепый самосуд толпы"<<150>>. Свергнув безнравственного императора, чернь нередко терзала его заживо - надругивалась над ним - выкалывала ему глаза - возила его по городу привязанным к ослу - мазала ему лицо человеческими нечистотами и т. д.

Для меня нет также сомнений, что именно низкий нравственный уровень одного из замечательнейших русских царей, одаренного великим государственным умом - Иоанна Грозного, - погубил его царствование, бесконечно навредил России и положил основание Смуте. Вспоминать ли о Навуходоносоре, о Борджиа и т. п.? Есть степень безнравственности монарха, которая подрывает к нему доверие в народе и разваливает государство.

Однако дело здесь совсем не в святости царя - а в той степени разложения личности и, главное, государственной воли его, которая мешает подданным доверять ему.

Лев Тихомиров решительно не прав, когда он утверждает, что именно нравственная добродетель царя составляет сущность монархии и монархического строя. Вопрос не в святости царя: Федор Иоаннович был свят - а строить государство не мог и сосредоточить на себе доверие народа не был в состоянии. Петр Великий не был святым человеком, и реформы его вызывали против него глухой протест, а народ и в верхах и в низах шел за ним и помогал ему, и доверял ему все больше и больше. Это значит, что многое непохвальное в личной жизни царя - вызываемое страстью, неуравновешенностью, но не бесчестием царя - извиняется народом легко; об этом шепчутся, скорбят, это иногда обличают в глаза; но государственную волю, патриотическую преданность, честность и честь Царя - испытывают неумаленными и продолжают ему доверять.

Есть мера страстных эксцессов царя - не подрывающая доверия к нему. И когда великий император Адриан, проведенный 28 лет в пути, - в творческой работе над своей империей, от малой Азии до Британии - под старость, переутомленный, нервно

надорванный, терзаемый страхом смерти и припадками ярости - однажды в таком припадке выковырял своему слуге, мальчику, глаз посредством грифеля, - то такое событие могло ужаснуть, потрясти окружающих, вызвать глубокую скорбь и сострадание к нему, но не могло подорвать к нему доверия так, как обычай императора Петра III грубо ругать духовенство в церкви во время Богослужения или показывать язык священнику, выходящему из алтаря со св. дарами. Известно, что Елизавета, королева английская, отличалась замечательной лживостью, к которой, при разоблачении, относилась сама с замечательной циничностью. Понятно, что никакая жестокость Петра Великого не могла поколебать доверия подданных к нему, как эта лживость.

При прочих равных условиях монарх, имеющий много любовниц, будет менее страдать от недоверия своих подданных, чем монарх лжец, предатель, трус и интриган. Иосиф Волоцкий был, конечно, прав, утверждая: "Царь бо Божии слуга есть, к человеку милостию и казнию. Аще ли же есть царь, над человеки царствуа, над собою же имать царствующая - скверныя страсти и грехи, сребролюбие же и гнев, лукавство и неправду, гордость и ярость, злейши же всех, неверие и хулу" - той есть не царь, а мучитель.

Но страсть и неверие, гнев и лукавство все-таки не в равной мере подрывают доверие к монарху. Прославленная необузданная страстность гениального короля английского Генриха VIII и лживость Елизаветы - неравноценны по своим разрушительным для доверия подданных последствиям.

Я не могу исчерпать здесь всего наличного материала по этому вопросу. Отмечу лишь еще совсем немного. В доверии к монарху религиозность и правосознание его имеют гораздо больший вес, чем святость и бесстрастность его чисто личной нравственности. Однако религиозность эта должна находиться в теснейшей связи с его государственным правосознанием; так, чтобы люди чувствовали, что его религиозность есть источник его государственного вдохновения (и гарантия оно); а его правосознание есть одно из проявлений его религиозного верования. Мистически настроенный, но растерянно-непротивленческий царь - наподобие Александра I, особенно в последнее десятилетие его царствования - только растеряет сокровище доверия в своих подданных. Словом, не приверженность к обряду и не много-молитвование строит доверие к монарху, а религиозно фундированная волевая сила характера (в этом была неверность и нестроительность личного уклада императора Николая II).

Особенное значение имеет живое и сильное чувство ответственности в душе монарха. И в этом отношении на первый план выдвигается идея служения - в самочувствии и в деятельности монарха. Амвросий Медиоланский выражает это так: "Все, живущие под римским господством, служат императору; но сам император должен служить всемогущему Богу".

Изучающий политическую историю может быть заранее уверен, что идею служения он найдет у каждого великого монарха - без исключения; монарх, чуждый идее служения и ответственности, не стоит на высоте и растрчивает капитал национального доверия. И замечательно еще, что эта идея не может быть подменена никакой фразой об ответственности или позой служения. Когда Петр Великий подписывается на письме к матери "Сынишка твой Петрушка, в работе пребывающий" или ставит на свою печать, уезжая за границу, слова "Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую", то весь мир знал и знает, что это не фраза и не поза; и обмануть в этом вопросе фразой и позой можно только людей слепых и наивных. И Ключевский дает выражение русскому национальному самосознанию, когда пишет о Петре, что у него было два главных побуждения: "Неослабное чувство долга и вечно напряженная мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот долг". Амвросий Медиоланский формулирует это служение как служение Богу; история знает наряду с этим императоров, считавших себя республиканцами, но остававшихся монархами, которые относили это служение свое к своему государству, к родине или народу - таковы Марк Аврелий, Фридрих Великий и Екатерина II.

Укажу, наконец, еще на то, что справедливость монарха и лояльность его по отношению к законам, им самим установленным - т. е. повышенная щепетильность правосознания у него - особенно способны повышать доверие подданных к нему. Всякий акт произвола, незаконности, несправедливости - особенно не в сторону милости, а в сторону интереса своего или (увы) своей партии - подрывает доверие к монарху.

Укажу два характерных положительных примера, и вам сразу станет ясно, что именно я имею в виду. Один - это знаменитая история Фридриха Великого с мельницей в Sans-Souci в Потсдаме. Мельница досаждала королю, мешала ему жить и работать, мельник же не мог или не хотел уступить и продать - и король почтил гражданскую свободу мельника, отказавшись от экспроприации его беспокойного орудия производства. Популярность (доверие!) короля навсегда осталась связанной с историей этой мельницы. Другой случай - из жизни царя Алексея Михайловича. Царь Алексей Михайлович был душеприказчиком патриарха Иосифа "и не решался ничего ни взять, ни купить себе из вещей Патриарха. Его очень прельщала серебряная посуда покойного, но он воздержался и писал об этом Никону, что он ничего не хочет покупать. "Не хочу для того, се от Бога грех, се от людей зазорно: а се какой я буду прикащик - самому мне (вещи) иметь, а деньги мне платить себе же". Такая нравственная щекотливость - замечательное явление для того века", - добавляет историк<<151>>.

Я выбрал эти два примера наудачу; но их, конечно, можно было бы привести множество. И если народ (в верхах или в низах) узнает о них при жизни царя - то он начинает верить ему при жизни до конца; а если узнает по смерти - то проценты с этого капитала доверия идут его наследникам и самой идее монархии.

Естественно, что именно это доверие, составляющее один из наиболее существенных и характерных элементов монархического правосознания, лежит в основе той системы государственного устройства и управления, которая известна в истории и в политике под именем "самодержавия". Ибо в самом деле - цельное и искреннее доверие к главе государства естественно приходит к тому, чтобы предоставить субъекту, к которому это доверие относится, всю полноту государственной власти.

В эту полноту включается независимость монарха от других органов государства, неподчиненность его им, неотчетственность его перед ними; обратно: подчиненность их ему - как в порядке функциональном, так и в порядке экзистенциальном и персональном. В период Римской империи, воспринимая традицию восточных деспотий, пытались продолжить это самовластие монарха и за пределы закона - утверждали, что *princeps legibus solutus est*, монарх не связан законами - и при этом, понятно, преступали основную аксиому права и правосознания и уводили монархию за пределы и права, и государства.

На самом деле самодержавие есть форма государственного устройства, а следовательно, и разновидность права; а потому все аксиомы права и правосознания действительны и для самодержавия. Так, закон, законно установленный и законно не отмененный, обязателен для всех - и для подданных, и для государственных органов, если только в законе особо не оговорено, что есть органы, могущие остановить применение неотмененного закона (например, так именно обстоит с правом монарха дать аболицию или амнистию - но это право, специально оговоренное в законах, и есть право и не уводит ни монарха, ни его действий в область внеправового произвола). Так или иначе, но нельзя не отметить, что монархическое правосознание, покоящееся на полноте доверия к монарху, всегда тянуло к самодержавному пониманию монархии.

Замечательно, что такое полномочие монарха обстоит по законам и в Англии, где монарх, по признанию Блэкстона, лорда Брума, Гладстона, Беджгота и других знатоков, имеет права совершенно совпадающие с самодержавным монархом России. Блэкстон: "король Англии не только главный, но, собственно говоря, и единственный правитель Англии; все остальные действуют по его поручению и подчинены ему". Гладстон: "монарх Англии - это символ национального единства и вершина социального здания. Он творец законов, высший правитель церкви, источник справедливости,

единственный источник всех почестей, лицо, которому служат все военные, морские и гражданские служащие. Монарх обладает очень большой собственностью, он получает по закону все государственные доходы и владеет ими, он назначает и увольняет министров, заключает договоры, милует преступников или смягчает приговоры, объявляет войну и заключает мир, созывает и распускает парламент; в осуществлении всех этих полномочий он не ограничен никакими особыми законами и в то же время свободен от ответственности за последствия своих действий". Беджгот пишет, что люди будут изумлены, если им сказать, сколько вещей английский король может сделать, не спрашивая мнения парламента: "он может распустить всю армию, уволить всех офицеров, начиная с главнокомандующего, распустить всех моряков, продать все корабли и все морское снабжение, заключить мир, пожертвовать Корнуэльсом и начать войну для завоевания Бретани" и т. д.

То обстоятельство, что король английский в действительности этого не делает, исполняет советы своих министров и т. д. - есть дело не закона, а политического обычая. Он имеет право повести себя иначе. Еще 15-20 лет тому назад все это могло казаться курьезом - забыли отменить отжившие законы; и все. Ныне начинают думать иначе: и близок, может быть, тот день, когда правосознанию в Англии придется оживить и свои с виду отошедшие в прошлое слои, и законы, казавшиеся мертвым грузом прошлого. Достаточно сказать, что фашистский переворот в Италии мог быть отражен и подавлен итальянским королем, который решил этого не делать и не отдал приказа армии, готовой к отпору, стрелять; достаточно постигнуть тот акт, который совершил еще несколько лет тому назад великий король Югославии и попытаться дать юридическую конструкцию происшедшему; и можно с уверенностью будет сказать, что если через пять лет в Англии большинство членов в Палате общин будет принадлежать коммунистам, то английскому народу придется вспомнить о природе монархического правосознания, а английскому королю останется выступить в качестве самодержца, самодержавно оздоравливающего свою страну. И это будет не "реакцией", не возвращением к "прошлому", к "отжитым, устаревшим представлениям", - а только самоуглублением монархического правосознания, оживлением его родовой глубины в час опасности, пробуждением его основного существа, заснувшего от слишком долгой безопасности, избалованного правопорядком и отвыкшего видеть трагическую природу государства и его рождение из несчастий и из беды.

Это означает, что к самому естеству монархического правосознания относится - питать к монарху полноту доверия и возлагать на монарха полноту ответственности. Для монархического правосознания не характерно требовать от монарха, чтобы он все делал сам; напротив - монарх может дать народу самоуправление, конституцию и даже парламентаризм с ответственным министерством; но монархическому правосознанию свойственно предоставлять монарху (полнота доверия!!) право и возможность изменить это самоуправление, отменить эту конституцию и погасить парламентаризм и ответственное министерство. Важно не то, чтобы вся власть в государстве была функционально связана волею монарха; но важно, чтобы она была экзистенциально (конечно, через закон, а не в порядке произвола) ему подчинена. Нелепо думать, что всякий монархист есть враг местного самоуправления, общественной самодеятельности и народного представительства; но для всякого монархиста характерно требование, чтобы монарх не связывал себя присягой никакой системе учреждений; и еще: требование, чтобы никто не требовал этого от монарха.

Все европейские конституции, по коим монарх обязан присягнуть, что палат будет две, что без палат нельзя ступить шагу, что министры назначаются из состава парламентского большинства (неважно, чему именно присягает монарх) - монархист испытывает как конституции, проникнутые республиканским духом, и не сочувствует им. С точки зрения монархического правосознания при этих конституциях демократы данной страны оказываются гарантированными от монарха и от его воззрений, но страна не

является гарантированной от революционного распада и гибели. Пафос независимости противостоит монарху и обеспечивает себя от него, но он обеспечивает свободу действия и противогосударственным, и противонациональным партиям. Недоверие к главе государства, и в частности к монарху, предпочитает иметь гарантию против монарха и не имеет гарантии против революционного разложения страны. И если бы какой-нибудь республиканец возразил на это, что ведь республика может в минуту опасности выдвинуть диктатора - то это будет только признанием того, что возвращение к монархическому принципу бывает неизбежно и для республиканцев; ибо диктатура есть явление монархическое в немонархии; и сколько раз в истории республика превращалась в монархию на путях диктатуры.

Итак, монархическому правосознанию присущ и характерен пафос доверия к главе государства; а республиканскому правосознанию - пафос гарантии против главы государства.

И наконец - понятно, что в монархии утрата доверия к монарху начинает разлагать весь государственный строй; а в республике - вопрос о доверии к президенту даже и не ставится; или, вернее, - всякий недоверяющий волен агитировать против него, подрывать к нему доверие, выставлять другого кандидата и забаллотировывать негодного. Недоверие к главе государства прямо узаконено в республике: и избирательностью президента, и срочностью его полномочий, и запретом переизбирать президента (это не во всех республиках), и ответственностью его за измену (тоже не во всех республиканских конституциях), и правом агитировать против него, и голосовать не за него. По самому существу дела, республиканский глава государства есть кандидат на законное свержение - и эвентуальный<<\*52>> изменник своей страны. Обязанность честного монархиста - доверять главе своего государства; обязанность честного республиканца - не доверять главе своего государства. Недоверяющий монархист - близок к измене своему государству, настолько же, насколько к измене своему государству приближается доверяющий своему президенту республиканец.

### **ОПАСНОСТИ МОНАРХИИ**

Проблема, и притом не одна, а целый ряд роковых проблем, начинается для монархического правосознания не здесь, а в вопросе о пределах своей верности.

Само собою разумеется, что верность монарху угасает со смертью подданного и переносится со смертью монарха на заранее намеченного и подготовленного субъекта в лице наследника. Этот наследник далеко не всегда бывает и бывал потомком угасшего монарха или его родичем, членом династии. История знает, например, традицию римских императоров, провозглашавших себе наследника - или просто в виде преемника, или в виде усыновления постороннего лица, или же в виде сопровозглашения его в качестве одновременного, но младшего царя (традиция Меровингов).

Во всех этих случаях вопрос сравнительно прост. Осложнения начинаются вот когда:

- 1) когда наследника нет;
- 2) когда монарх не умирает, а отрекается;
- 3) еще бóльшие и трагические затруднения встают тогда, когда монарх при жизни всем своим образом действия нарушает или даже разрушает в душах подданных доверие к себе, быть может, все еще продолжая требовать от них верности.

Первые два случая высоко казуистичны: решение их возможно только в каждом отдельном случае в зависимости от сложившихся обстоятельств; и мы видим в истории, какие последствия могут наступать при отсутствии или при спорности законного наследника, когда целые народы годами борются с явлениями спорности прав, самозванчества, новоизбрания, столкновения претендентов, борьбы между династиями.

Все эти явления вследствие их казуистичности и вследствие того, что они не касаются нашей основной проблемы - "монархии-республики", - я оставлю в стороне.

Что же касается вопроса о законных пределах повиновения монарху и тесно связанного с ним трагического вопроса о цареубийстве, то здесь мы как раз имеем ту сферу, в которой монархическое правосознание и республиканское правосознание сплетаются и смешиваются.

Это есть специально область соблазнов и искушений для монархического правосознания; и если оно не справляется с ними, то оно переживает своеобразное крушение и перерождение, на котором необходимо остановиться.

\* \* \*

Исследуя те свойства и черты, которые отличают монархическое правосознание от республиканского, мы установили, что

1) монархическому правосознанию присуще доверять главе государства (пафос доверия), а республиканскому правосознанию присуще искать и устанавливать в законах и в учреждениях гарантии против главы государства (пафос гарантии); и далее, что

2) монархическому правосознанию присуще питать верность к главе государства, даже до смерти, а республиканскому правосознанию этот пафос верности не присущ; напротив, республиканское правосознание обеспечивает себе по отношению к главе государства независимость, право личной смены, иногда даже запрет переизбрания того же самого лица, право критики, агитации и даже партийной интриги против главы государства. Это есть вера в необходимость и возможность от времени до времени на срок избирать так называемого "наилучшего из равных".

С этим, сказал я, связана для монархического правосознания особого рода сложная и острая проблема, которая совсем не существует или почти не существует для республиканского правосознания. Это есть вопрос о пределах верности подданного монарху.

Для республиканца вопрос прост и ясен: президент, как орган государства, имеет свою, определенную в законах публично-правовую компетенцию: утверждение указов, законов, международных договоров; назначение министров из состава парламентского большинства и т. д.; то, что он совершает в законной форме и в пределах своей компетенции - решает вопросы и связывает соответствующие органы государства; и наконец, ни о какой личной верности граждан президенту, его потомству или его роду не может быть и речи. Такая верность возможна - кто-нибудь может подать в отставку при окончании срока полномочий президента, отойти вместе с ним от дел, считать его врагов своими врагами, его друзей своими друзьями; даже уехать за ним в ссылку. Но все это будет совершенно лишено публично-правового значения: это будет делом личной дружбы или семейной преданности, но отнюдь не делом государственной воли, чувства и правосознания. Верность Ласказа, последовавшего за Наполеоном на остров Св. Елены; верность камер-гусара Струцкого, в объятиях которого скончался Фридрих Великий<<152>>; верность Татищева, Долгорукого, Боткина, Гендриковой и Шнейдер, погибших вместе с семьей государя Николая II, - все это есть явления или поступки государственного значения, рыцарственные акты публичного правосознания. Различие ясно; и если оно кому-нибудь все-таки не ясно, то это только означает, что он совсем не представляет себе основной природы монархического правосознания.

И вот именно для монархического правосознания, утверждающего себя в верности не государственному органу, а лицу, живому человеку, его семье и его роду (именно потому, что это лицо, и семья, и род - по природе своей, по крови своей - уже получили и имеют пожизненно государственное призвание, право и обязанность нести власть и бремя верховного государственного органа в этой стране) - для монархического правосознания имеется сложный и трудный вопрос о пределах своей верности монарху, о возможном диспенсировании (отвязании, угашении) своей обязанности пожизненно служить монарху. Это проблема отнюдь не выдуманная, не подсказанная тайным республиканством, не внушенная скрытым бонапартизмом. Вряд ли кто заподозрит во всем этом преп. Иосифа Волоцкого. Однако и он не только ставил этот вопрос, но и давал

ему острое, прямое, недвусмысленное разрешение. Описавши нрав порочного царя, одержимого скверными страстями, грехами и неверием, он договаривает: "Таковий царь не Божий слуга, но диаволь, и не царь, но мучитель; ...и ты убо такового царя или князя да не послушаеши, на нечестие и лукавство приводяща тя, аще мучить, аще смертью претить"... И заключает: "сице подобает служити царем и князем"<<153>>.

Для того, чтобы сразу и недвусмысленно поставить этот вопрос, приведу пример из истории Византии. В середине IX века при императоре Михаиле, прозванном Пьяницей, когда государством фактически правил дядя Михаила - Варде, был при дворе шут, взятый из конюхов, известный педераст Василий Кефал. Ловкою интригою он скомпрометировал и устранил Варде, убил его, стал соправителем Михаила, затем убил и его; и воцарился <<154>>. Повинно ли монархическое правосознание повиновением такому императору? Повинно ли оно верностью монарху захватчику; монарху изменнику, предавшему своего монарха; монарху, лишенному чести; монарху педерасту и шуту?

Возьмем другой пример. В первом томе своей истории Фукидид рассказывает, как лакедемонский главнокомандующий, а потом и царь, Павсаний, низложенный и изгнанный своими согражданами, предложил персидскому царю Ксерксу передать ему в подчинение (как он дословно выразился) "Спарту и остальную Элладу" - в отместку за неудачу его карьеры на родине. Пусть низложение царя не прекращает верность ему. Но акт предательства, совершенный царем по отношению к родине? Верность монарху сильнее ли верности родине? Царь живет для родины или родина служит царю? Царь есть орган народа и государства - или народ и государство есть суть объект, созданный для удовлетворения стремления монарха к власти?

Тем самым мы подошли к проблеме тирана. Слово опошленное, скомпрометированное от тех злоупотреблений, которым его вот уже несколько тысяч лет подвергают республиканцы. И тем не менее - не только не потерявшее своего смысла для монархиста, но обозначающее одну из самых трудных и роковых проблем. Тиран и тирания не выдумка республиканцев, а реальность, и притом трагическая реальность. Тиран есть монарх, не стоящий на высоте своего призвания; и более того - извращающий свое призвание, свою национально-политическую функцию и тем подрывающий монархическое правосознание в своем народе и монархическую форму своего государства.

Позвольте привести вам кое-что из собранных мною по этому вопросу материалов. Аристотель пишет: "Тиран стремится к осуществлению трех целей: 1. вселить малодушное настроение в своих подданных, 2. поселить в своих подданных взаимное недоверие, 3. лишить подданных политической энергии"<<155>>. Все три стремления как раз обратны тому, к чему призван монарх. Фюстель де Куланж характеризует деятельность греческих и римских тиранов: "Тираны везде с большей или меньшей жестокостью вели одну и ту же политику. Один коринфский тиран просил однажды у тирана милетского совета относительно управления. Последний вместо ответа срезал все хлебные колосья, превышавшие своим ростом прочих. Таким образом, правилом их поведения было рубить головы, поднимавшиеся чересчур высоко, и, опираясь на народ, наносить удары аристократии". Для народа же тиран был орудием борьбы с высшими слоями, с аристократией: "Тиран являлся вследствие необходимости борьбы; потом за ним оставляли власть из признательности или по необходимости, но как только проходило несколько лет и воспоминание о тягостной олигархии забывалось, тиран обыкновенно свергался"<<156>>. В другом месте своей книги Фюстель де Куланж отмечает у тиранов вечный страх, жажду мести, готовность ко всякой конфискации и потакание низменным инстинктам толпы. Аристотель поясняет еще по существу: "Тиран не обращает никакого внимания на общественные интересы, а имеет в виду исключительно лишь свою личную выгоду"<<157>>. Ему выгодно "вообще устраивать все так, чтобы все оставались по преимуществу чужими друг другу, так как взаимное общение способствует образованию солидарности"<<158>>. "Цари получают охрану своей власти от граждан, а тираны

должны охранять себя против граждан"<<159>>. "Тиран должен держать шпионов или подслушивателей: в страхе перед такого рода лицами подданные отвыкают свободно обмениваться мыслями, а если и станут говорить свободно, то скрыть им свои речи трудно"<<160>>. "Тираны любят все дурное в людях; когда им льстят, они этому рады; а льстить разве станет какой-нибудь свободно мыслящий человек?"

Позвольте пополнить этот замечательный политический рисунок еще следующими ссылками:

Фукидид пишет: "Все тираны, бывшие в эллинских государствах, обращали свои заботы исключительно на свои интересы, на безопасность своей личности и на возвеличение своего дома. Поэтому при управлении государством они преимущественно, насколько возможно, озабочены были принятием мер собственной безопасности". Де ла Бозе пишет, что к тирану всегда собираются тиранята - люди алчные, негодяи. Тацит рассказывает, что при Нероне "добродетель влекла за собою смертный приговор". Фихте Старший определяет сущность тирании так: "нравственное унижение подчиненных становится орудием господства". Русский нравоучительный памятник XVI века "Наказание князьям" пишет: "царю неправедцу - все слуги под ним незаконны суть". Цицерон, с искренним умилением отзывающийся о патриархальной царской власти, рассказывает о Юлии Цезаре следующее: "в лагере Цезаря находятся одни только бесчестные люди, которые либо боятся за свое прошлое, либо питают преступные надежды на будущее. Нет такого негодяя в Италии, который не был бы с ним". Это объясняется тем, что Цезарь не убеждал своих сторонников - "он употреблял более простые надежные доводы - он платил". Он организовал обширную систему подкупа. Средства для этого доставила ему Галлия. Он ограбил ее так же энергично, как и покорил. Являвшиеся к нему никогда не уходили от него с пустыми руками; он не пренебрегал даже тем, чтобы делать подарки рабам и вольноотпущенным, если те имели влияние на своих господ. Торг открывался, и вельможи являлись к нему один за другим, дожидаясь своей очереди. Однажды в Лукке их явилось сразу такое множество, что в зале было насчитано двести сенаторов, а у входа 120 ликторов. Историк комментирует это так: "у господина нет недостатка в прихвостнях, и Цезарь, хорошо им плативший, имел их более, нежели кто-либо; но нам решительно неизвестно, чтобы у него были искренние и преданные друзья, - ни один не остался ему верен"<<161>>.

Худших тиранов знала Византия - таков был, например, правивший перед крестовыми походами император Андроник Комнин, который, по словам современного историка, "считал потерянным тот день, когда он не захватил и не ослепил какого-нибудь знатного человека, думая гибелью других упрочить свою власть. Столица жила в постоянной тревоге. Зверство соединялось у него с крайним сладострастием. При этом он постоянно заигрывал с городской чернью, которая однажды свергла его и надругалась над ним"<<162>>.

Подобных тиранов и тиранчиков знала во множестве Италия XIV и XV века - не говоря уже о Цезаре Борджиа, так жестоко обманувшем ожидания благородного патриота Макиавелли; и сверх того - все эти Каструччио-Кастракани, Браччио Мантуанские, Пиччинино, Малатеста Риминийские, Сфорца Миланские и т. д. О первом Сфорца, кондотьере Франческо Сфорца - Макиавелли пишет: "ничто ...не удерживало его: ни страх, ни стыд клятвопреступления, потому что он знал... что обманом стыдно лишь потерять, а не выиграть"... Про сына его Галеаццо Сфорца (1466-1476) историк Целлер пишет: "Блеск двора он заменил расточительностью, воинский дух - парадом, правительственный авторитет - тиранией, благоразумие в политике мелким задором, сдержанность в частной жизни - распушенностью. Он делал немало смотров, и ни разу не командовал в битве. Любя удовлетворять свои страсти, он еще более любил предавать публичному позору семейную честь своих подданных. Для своих жертв он изобретал истязания гнусные и отталкивающие и при их исполнении присутствовал лично, как художник, желающий судить о достоинстве своего произведения"<<163>>. Все эти

примеры, которые можно было бы умножить без конца, вскрывают достаточно природу тирана: своекорыстие, пренебрежение благом страны, стравливание классов и сословий, искоренение верхнего слоя, заигрывание с чернью, правление террором и т. д. Из этого вы уже видите (мимоходом говоря), что примеры Ленина и Сталина. - не единичны в истории; напротив, это типичные тираны, но только с исключительно сильной организацией власти и с коммунистическим направлением политики. Замечательно, что еще в России, особенно после введения НЭПа, мне приходилось наблюдать, как у людей умных, патриотичных и благородных опустевшее, заброшенное и поруганное монархическое правосознание пыталось прилепиться мечтою к Ленину - появлялись намеки на его мудрость, пытались свалить с него ответственность за террор, ждали от него оздоровления страны... я убежден, что простой народ не только по приказу ходил кланяться его разлагающемуся праху; сюда же относится крестьянский говор после указа Сталина от февраля 1930 года - "батюшка Сталин запретил колхозы" и т. д. Словом, тиран есть всегда сходнородный антипод монарха; пусть карикатура на монарха, пусть постыдная обезьяна его - но для монархического правосознания всегда и горе, и искушение, и разочарование, и соблазн.

И прежде всего проблема: вопрос о пределе повиновения.. Замечательно, что вопрос этот разрешался в самом христианстве различно. Я приводил вам категорический ответ преп. Иосифа Волоцкого. Вы знаете, наверное, что среди монархомахов, т. е. государе-поражателей - политических мыслителей, считавших цареубийство допустимым и иногда даже обязательным, - имелись иезуиты и теоретики, и практики. Наряду с этим, позвольте привести суждение Иоанна Златоуста. Описав тип византийского тирана, его всенародную вредность и общепризнанную неудобовыносимость, он заключает: "видя царствующим сурового князя, человекоубийцу, жестокого - не молись, чтобы он был изъят из среды живых, но примиришь с Богом, который может укротить его жестокость. Если же не примиришь с Богом, он может возбудить других, более жестоких князей". Отсюда вы видите чрезвычайно сложный характер вопроса и трудность ответа на него. Я лично не думаю, чтобы ответ здесь мог бы быть единообразен и мог бы предусмотреть все случаи и затруднения. Однако некоторые принципиальные указания, как подходить к разрешению этого вопроса в конкретных случаях, я думаю, все же дать можно и должно.

1. Царь существует для страны, для государства, для нации, а не страна для царя. Власть монарха не высшая, не самодовлеющая цель; служение и верность ему тем более не являются самодовлеющей целью. Верность Павсанию, предающему свою родину - есть не что иное, как соучастие в его предательстве; эту верность можно извинить духовно слепому рабу - так, как Гус простил старушке ее вязанку, которую она подложила ему в костер; это эксцесс слепого правосознания, это рабская преданность предателю, лишенная смысла и губящая родину; монархизм, предпочитающий царя родине, при неизбежности выбора - не есть политическая добродетель; он столь же нелеп, как тезис ожесточенного демократа - пусть страна моя станет демократией, хотя бы ценою собственной гибели. Также нелепа верность Василию Кефалу. Царь, извращающий, роняющий, унижающий собственное звание - нуждается со стороны подданных не в повиновении, а в воспитывающем его неповиновении. Есть случаи, когда подданный, будучи монархистом, обязан дерзать и не повиноваться - не уклоняясь трусливо, не симулируя повиновение, а открыто и обоснованно отказываясь повиноваться<<164>>.

2. Отсюда второй принцип: повиновение кончается не там, где подданный думает, что он имеет право не повиноваться, но там, где он глубоко убежден в том, что неповиновение становится его священной обязанностью. Сознание права и сознание обязанности духовно и практически неравноценны вообще в жизни человека; пользование правом есть вопрос усмотрения; осуществление обязанности сопровождается чувством невозможности (несмения) иначе действовать; поэтому идея обязанности повышает критерий, вызывает более глубокую проверку, приводит в движение последнюю, верную и священную духовную глубину души. Этим я утверждаю, что неповиновение монарху

может стать и бывало много раз в истории - обязанностью подданного. Для тех, кто еще сомневается: подданный обязан менять веру по приказу монарха? значит, и поклоняться идолам? Ни христианин, ни верующий человек (ни один) ни чувствовать, ни думать так не может. Это будет не монархизм, а сервиллизм, низкопоклонничество, пресмыкательство, раболепство - извращение монархического правосознания и правосознания вообще; поставление человеческого выше Божьего.

Еще добавочный критерий: тот, кто ссылается на свое право неповиновения - тот обычно будет склонен уклониться от неприятных последствий этого неповиновения поступка; ибо за пользование своим правом неприятных последствий не причитается; и тогда это не право, а лишенность или ограниченность права. Но тот, кто ссылается на свою обязанность неповиновения, тот имеет столь существенные и сильные мотивы неповиновения, которые обычно ведут его к готовности стать за своим поступком, целиком присутствовать в нем и отвечать за него; конечно, за исполнение обязанности, вытекающей из закона, неприятных последствий тоже не полагается; однако ясно уже, что здесь дело идет не о законе государственном, а о естественно-правовой обязанности.

Вот почему я бы считал правильным формулировать весь вопрос так: обязанность повиновения монарху всегда остается ограниченной, а именно - **ОБЯЗАННОСТЬЮ** неповиновения ему. Именно здесь начинается тот предел, который отделяет подданного от раба, монархиста от льстеца, монархии от тирании, государева советника от временщика, слугу родины от карьериста. Именно из такого правосознания написаны эти обличительные, превосходные строфы А. К. Толстого:

Вдруг гремят тулумбасы; идет караул,  
Гонит палками встречных с дороги;  
Едет царь на коне, в зипуне из парчи,  
А кругом с топорами идут палачи, -  
Его милость собираются тешить,  
Там кого-то рубить или вешать.  
И во гневе за меч ухватился Поток.  
"Что за хан на Руси своеволит?"  
Но вдруг слышит слова: "То земной едет бог,  
То отец наш казнить нас изволит!"  
И на улице, сколько там было толпы,  
Воеводы, бояре, монахи, попы,  
Мужики, старики и старухи -  
Все пред ним повалились на брюхи.  
Удивляется притче Поток молодой:  
"Если князь он, иль царь напоследок,  
Что ж метут они землю пред ним бородой?  
Мы честили князей, но не эдак!  
Да и полно, уж вправду ли я на Руси?  
От земного нас бога Господь упаси!  
Нам Писанием велено строго  
Признавать лишь небесного Бога!"  
И потом дальше:  
"...Ведь вчера еще, лежа на брюхе, они  
Обожали московского хана,  
А сегодня велят мужика обожать.  
Мне сдается, такая потребность лежать  
То пред тем, то пред этим на брюхе  
На вчерашнем основана духе!"<<\*53>>

Итак: если первый принцип устанавливает целевую подчиненность монарха родине, а второй требует обсуждения вопроса о неповиновении как обязанности, а не как права, то ясно уже - что вся постановка вопроса предполагает, в-третьих,

3. исходный пункт в виде настоящего, искреннего и убежденного, естественно-правового монархического правосознания.

Для республиканского правосознания вся проблема есть мнимая. Но для полуреспубликанского правосознания, более или менее тянущего к растворению личного начала в коллективе, живущего пафосом равенства, утилитарными критериями и т. д., - вопрос этот будет всегда разрешаться в сторону нежелания повиноваться, в сторону права на неповиновение и т. д. Неповиновение монарху будет для республиканца естественным, заурядным умонастроением и волеуправлением; и потому почувствовать и осознать всю остроту и сложность проблемы он не будет в состоянии. Мало того: и монархист, ставя перед собою эту проблему, должен углубляться в сущность своей правовой совести или, если угодно - поставить вопрос не перед своим положительным правосознанием, но перед естественным правосознанием; он не должен ссылаться на традицию, на свои привычки, на свою формально-государственную присягу, на свои вкусы или на логику - все это есть уклонение от проблемы, бытовая отписка, попытка разрешить стереометрическую проблему в планиметрических терминах; здесь не может весить и ссылка на свои мистические наклонности, на свое беспредметное умиление при слове царь, на свое нежелание или несмение рассуждать ("могу ли сметь свое суждение иметь?").

Бремя решения остается на самом человеке, на подданном, который в известных случаях жизни обязан не повиноваться монарху - и притом НЕ вопреки своей присяге, а в исполнение своей присяги. Ибо в самом деле: что он присягал монарху, присягавшему своей стране, или же монарху, оставившему за собою право изменить своей стране? Присяга его освобождала его от верности родине? Присяга его отменяла ли его веру в Бога и служение Богу? Присяга его была ли отречением от своей совести, чести и от своего человеческого достоинства? Присягал ли он повиноваться монарху против своей родины, веры, совести, чести и достоинства?

Я могу себе представить такое извращенное, болезненное воззрение, которое будет утверждать, что присяга монархиста заменяет ему родину - веру - совесть - честь - и достоинство. Но это означало бы только, что такой человек совсем не знает, какова природа и в чем значение этих начал; он не понимает, что присяга и монархическое правосознание покоятся на этих функциях духа, вытекают из них, суть видоизменение их, питаются и держатся ими и теряют без них весь свой смысл. Это нелепо, бессмысленно, извращенно и губительно - чувствовать, жить и говорить так: родины я не признаю, но монарху своему я верен (тогда это не монарх, а кондотьер - это присяга не царю, а наемному предводителю ландскнехтов, в авантюристическую свиту которого записался присягавший). Или: веры у меня нет, Бога не имею, но религиозный акт клятвы на верность вождю связывает меня. Такой человек не мог присягать - а монарх не мог принять такой присяги; у него нет духовного органа для присяги, ему нечем присягнуть - не словами же и не пальцами руки; и как будет религиозно верен человек, который готов менять свою веру по приказу светского владыки? Верить по приказу нельзя; по приказу можно только симулировать веру; верным на смерть можно быть, по-видимому, и из чисто моральных, религиозно безразличных убеждений - но тогда мораль заменяет веру, становится верой человека и несет ее функции.

Можно представить себе, что у кого-нибудь от всей веры только и осталось, что присяга королю и верность ему - но тогда самая присяга и верность его построены на болоте и напоминают собою пристрастие и идолопоклонство. Нелепо говорить - присяга поглотила мою совесть, ибо это значит признать себя готовым на бессовестные поступки по чужому приказу<<165>>. В виде курьеза или чудовища можно представить себе такого Лепорелло, такого раба в услужении у Цезаря Борджиа, такого Малюту Скуратова или Ваську Грязного - но монархизм ли это? Не унижительный ли сервилизм? Честь родит и

питает присягу - или присяга есть источник чести? Честное слово бесчестного человека? И какая ценность присяги, данной человеком, лишенным чувства собственного достоинства? Словом: присяга предполагает, что человек есть духовное существо и этой духовностью осмысливается и питается; присяга есть проявление естественного правосознания человека и его религиозности - и потому она не может ни поглотить их, ни погасить, ни отменить.

Мне могут еще сказать, что в таком случае у подданного остается как бы право контроля над монархом; что он каждый раз обязан рассматривать приказы монарха с точки зрения своих верований и воззрений; что это есть своего рода "постольку поскольку"; что этим разрушается всякий порядок и всякая дисциплина; что этакий монархизм хуже республиканства - это анархия. Однако я подчеркнул, что монархическому правосознанию свойственно прежде всего доверять монарху и что именно это доверие лежит в основе верности. Дело монарха быть верным - вере, своей стране, своему призванию, своей совести и чести - и тем поддерживать во всем народе не только доверие к себе, но и самые эти начала в душах своих подданных. То, что я рассматриваю - есть случай патологический или тератологический: монарх духовно и государственно выпадает из своего ритма - что тогда? Беспредельна ли обязанность подданного повиноваться именно в этом случае? или же он слепо обязан идти за монархом - на бесчестие, бессовестность, предательство, преступление? (например, когда в конце VIII века императрица византийская Ирина ослепила своего сына императора Константина).

Повторяю, для республиканца по правосознанию - этот вопрос совсем и не стоит; даже тогда, если он является гражданином монархического государства: он своему монарху уже не доверяет. Для монархиста - самая идея о необходимости не доверять монарху тягостна и противна; наступающая же необходимость не доверять или не повиноваться вызывает в его душе целую бурю и муку. И бывают случаи, когда он должен разрешать всю эту проблему в сторону неповиновения. Но при соблюдении еще следующих двух правил.

4. Проверить себя, свои мотивы и свое сердце, что он разбирает этот вопрос, исходя не из своего личного, или сословного, или классового интереса - ибо этот интерес всегда может нашептать ему выгодность неповиновения, или выгодность дворцового переворота, или выгодность революции; нашептать - и притом (как это часто бывает в неискусной или криводушной совестной работе) замаскировать себя софизмами, неверными наблюдениями, пристрастием в наблюдении и истолковании фактов и т. д.

5. И наконец, пятое условие - это неповиновение монархист должен сам испытывать и осуществлять как единственный и верный путь, ведущий не к разрушению, а к строительству монархии.

Замечательно, что великие монархи нередко умели ценить эти акты протеста и неповиновения (наподобие известного случая Якова Долгорукова, разорвавшего указ императора Петра). И надо признать, что такое неповиновение может блюсти присягу: тогда как лесть, которою обыкновенно окружают монархов, есть уже сама по себе - прямое и сущее нарушение присяги.

Римский сенат в эпоху империи, прославившийся своей льстивостью - от Траяна и Домициана до Грациана и Феодосия - был явлением не монархическим, а антимонархическим, разлагающим<<166>>. Уже император Август задыхался от этого фимиама лести; и однажды велел снять около 80 пеших и конных серебряных статуй своих, поставленных ему в Риме, перелить их и обратить вырученные деньги на драгоценные приношения в храме Аполлона - от своего имени и от имени жертвователей<<167>>, желая этим подчеркнуть, что поклонение подобает Богу, а императору не подобает принимать лесть. Но уже преемники его, даже такие, как Траян, принимали эту лесть. Оратор и философ Фемистий пишет о лестцах императора Юлиана: "несчастные игрушки прихоти наших господ, мы поклоняемся их пурпuru, а не Богу и

принимаем новый культ с новым царствованием" <<168>>. Князь Щербатов, автор известного трактата об упадке нравов в России (18 век), пишет, что "у вельмож отъялась смелость изъяснять свои мысли, они учинялись не советниками государевыми, а дакальщиками любимцев". Это люди, "имена которых были славнее их дел", любили уже и сами дакальщиков и охотно окружали себя людьми искательными <<169>>. A La Bruyère отмечает: "il n'y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la présence du prince: à peine les puis-je reconnaître a leurs visages, leurs traits sont altérés et leur contenance est avilie: les gens fiers sont les plus défaits, car ils perdent plus du leur; celui qui est honnête et modeste, s'y soutient mieux, il n'a rien à reformer" <<\*54>>.

Нетрудно понять, почему лезть нарушает присягу. Являясь по внешности ярким проявлением преданности, почтения и верности, лезть внушает монарху, что он лично, как он есть, не имеет надобности строить, воспитывать, очищать и укреплять свою душу; он якобы уже достиг совершенства; божественно-ноуменальная часть его существа, в которую верит монархическое правосознание, якобы уже достигла такой власти и цельности и так поглотила его эмпирически-личную грешную душу, что он имеет право считать себя совершенством <<170>>. Этим лезть ослепляет самочувствие монарха, угашает его бдительность и трезвение, притупляет его внутреннюю самокритику, избаловывает его морально, развращает его волю к самосовершенствованию; а так как монарх есть прежде всего орган своего народа, орган его инстинкта, его молитвы, его судьбы, орган, служащий его духу посредством власти над его жизнью и телом, - то такие лезтецы и угождатели, такие "дакальщики" являются настоящими вредителями своего народа. Если же принять во внимание, что большинство этих людей действует не от глупого обожания, а от хитрого своекорыстия, то низость и вредность их станет совершенно ясной. Такие люди разложили дух и скомпрометировали не одного монарха и довели до крушения не один монархический режим. История монархии полна примеров такого вредительства; и монарх, не умеющий удалять таких людей - рано или поздно станет сам их жертвою и отдаст свою страну на растерзание. Лезливость есть порок и извращение монархического правосознания. Лезть есть скрытая, внутренняя язва монархического строя.

Но было бы напрасно думать, что в основе этого порока и этой опасности лежит всегда грубое своекорыстие. Лезть нередко родится из того своеобразного монархического бессмыслия и безыдейности, которые господствуют в душе у монархистов: люди не чувствуют художественно, не прозревают нравственно, не понимают умственно - в чем состоит то внутреннее делание, которое характеризует и отличает монархическое правосознание от республиканского; то внутреннее делание, которое обязательно для каждого монархиста. Ибо большинство монархистов воображает, что быть монархистом - это значит считать, что лучше царь, чем республика, и затем исполнять, что царь прикажет, стараясь ему угодить и опасаясь навлечь на себя его немилость. Между тем на самом деле одна из первых обязанностей монархиста состоит нередко в том, чтобы не опасаться той немилости, которую ему, вероятно, придется рано или поздно навлечь на себя. Если подданный призван "угождать" монарху, то только и исключительно ноуменальному существу его; а это ноуменальное существо монарха нередко стоит в прямом и остром расхождении с эмпирически-личным укладом, характером, нравом монарха, с его страстями, прихотями и капризами. Окружение царя нередко этого не понимает, совершенно не понимает: берут человека, как он есть, и начинают ему угождать. При этом - угождать нередко для того, чтобы привлечь его; подчинить его, завладеть им, сделать его своим орудием; или, точно выражаясь - оставить ему видимость власти, а самую власть похитить у него и присвоить ее себе.

Лезтецы нередко подобны вора, вкрадывающимся в доверие для того, чтобы ограбить; или шулерам, которые обыгрывают фальшивыми картами. Можно было бы сказать, что в каждом лезтеце скрыт более или менее способный и хищный временщик; и вряд ли найдется временщик, который, пробираясь к власти, обошелся бы без лезти. Это

ступени единой лестницы: льстец - фаворит - временщик; ибо фаворит есть преуспевший в своей вкрадчивости льстец, а временщик есть преуспевший в своем властолюбии фаворит.

Мы наблюдаем здесь замечательное явление, присущее всем государственным формам - и монархическим, и республиканским, но тем и другим по-особому: вокруг верховной власти, как таковой, происходит все время некоторая давка и толкотня, суетливое вращение; подобно игре в большой мяч, вокруг которого все толпятся, стараясь дать ему толчок посильнее. Иногда поднимается целая волна честолюбия и властолюбия. (Это далеко не одно и то же - честолюбец часто не способен к власти и не призван властвовать, а властолюбец нередко презирает почести.) Когда эта волна поднимается, достигает известной страстности и бурности, то создается иногда что-то вроде гражданской войны в зародыше, иногда что-то напоминающее ходынку или хлыстовское радение. Эта толкотня и суетня выражается в республиках в форме более крикливой, механизированной, открытой, откровенной, как бы самосознательной интриги, интригующей над множеством; в монархии эта толкотня приобретает формы более прикровенные, но именно поэтому может быть более ядовитые и опасные: здесь не кричат, а шепчут; не ругают, а восхваляют, льстят; интригуют, стараясь замаскировать свою интригу; интригуют не над имперсональным множеством, а над определенной, высокопоставленную личностью. И от времени до времени над этим закулисным шепотом, из этой льстивой паутины - иногда стремительно, чаще медленно и постепенно - поднимается фигура временщика.

Но проблема временщика теснейшим образом связана с проблемой автономного монарха и не может быть разрешена помимо ее. Монарх автономен, т. е. самозаконен, самостоятелен на престоле тогда, когда воля его в своих решениях зависит в конечном счете от предметных источников его религиозности, его правосознания и его самостоятельного государственно-политического видения. Иными словами, когда он слушается Бога и своей государственной совести, а других людей только выслушивает. Монарх утрачивает свою автономию тогда, когда он позволяет стать между государственным делом и своим решением другому человеку или другим людям, искажающим его волю или навязывающим ему свои воззрения и решения.

История указывает семь таких типических возможностей, которые требуют особого внимания и анализа: когда монарх оказывается в зависимости - 1. от других членов династии, 2. от женщины или женщин (любовницы), 3. от войска (преторианцы), 4. от деньгодателей и банкиров, 5. от придворных партий и камарильи, 6. от духовенства, 7. от временщика. Понятно, что судьбы монарха и монархии слагаются каждый раз по особому, по-своему - смотря по тому, кто подчиняет себе его волю и в зависимости от каких людей, групп и сил он оказывается. Одно ясно: что на всех этих путях монархия сталкивается с особыми, ей присущими опасностями и идет по неверным, больным путям.

И еще одно: верность монарху - а для нас это сегодня самое существенное - состоит не в том, чтобы угождать ему, слепо и угодливо пресмыкаться, а в том, чтобы за совесть и бескорыстно помогать ему сохранить свою автономию. Верность монарху есть верность автономному монарху и потому прежде всего автономии монарха. И для соблюдения этой верности - есть свои особые пути, средства и правила (...).

Больше книг на [Golden-Ship.ru](http://Golden-Ship.ru)

Монархическое правосознание

1. олицетворение власти и государства-народа
2. культ ранга
3. мистическое созерцание верховной власти
4. приятие судьбы и природы, ведомых Провидением
5. государство есть семья - патриархальность и фамилиарность
6. пафос доверия к главе государства
7. пафос верности

8. центростремительность
9. тяга к интегрирующей аккумуляции
10. культ чести
11. заслуги служения
12. стихия солидарности
13. органическое восприятие государственности
14. культ традиции
15. аскеза политической силы суждения
16. культ дисциплины, армия
17. гетерономия, авторитет
18. пафос закона, законности
19. субординация, назначение
20. государство есть учреждение
- Республиканское правосознание
- растворение личного начала и власти в коллективе
- культ равенства
- утилитарно-рассудочное восприятие власти
- человеческое изволение выше судьбы и природы
- государство есть свободный равный конгломерат, уравнительное всесмещение
- пафос гарантии против главы государства
- пафос избрания угодного "Rebus sic stantibus"
- центробежность
- тяга к дифференцированной дискретности, атомизму
- культ независимости
- культ личного успеха, карьеры
- стихия конкуренции
- механическое восприятие государственности
- культ новаторства
- притязательность политической силы суждения
- личное согласие, инициатива, добровольчество
- автономия, отвержение авторитетов
- пафос договора, договорности
- координация, выборы
- государство есть корпорация
- \*1 Букв. игра в лапту (фр.).
- 1 Герье. Август. ("Вестник Европы").
- \*2 Верховная власть, первоначально - высшая военная власть (лат.).
- \*3 Глава государства (в качестве первого лица государства, президента) (нем.)
- \*4 Глава государства (в качестве главы совета, главы правительства) (нем.).
- 2 Буасье. Цицерон и его друзья. 326.
- 3 Буасье. Падение язычества. 1.
- 4 Там же. 2, 3.
- 5 Безобразов. Очерки византийской культуры. 35.
- 6 Там же. 14-15.
- \*5 Царь франков (лат.).
- 7 Н. Brunner. Deutsche Rechtsgeschichte. II, 2; I. Flach. Les origines de l'ancienne France. III, 163-164.
- \*6 Король сопричастный (фр.).
- 8 Flach. Op. cit. 397-399, 409.
- \*7 Высшая власть (лат.).
- \*8 Королевская власть (лат.).
- 9 Там же.

- \*9 Совластитель (лат.).
- \*10 Соправитель (фр.).
- 10 Там же. 392-393.
- 11 Там же. 387.
- 12 Фюстель де Куланж. Древняя гражданская община. 163 и примеч.
- 13 Там же. 332.
- \*11 Делает королем по общему согласию (лат.).
- 14 Flach. Op. cit. 238.
- 15 Там же. 389-390.
- 16 Там же. 395-396.
- 17 Там же. 439.
- \*12 Я вовсе не узурпировал корону, я вытащил ее из грязи; народ надел ее мне на голову, уважайте же его действия (фр.).
- 18 Las Cases. Mémorial de Sainte-Hélène. III, 113.
- 19 Безобразов. Op. cit. 13.
- \*13 Здесь и далее указываются даты правления.
- 20 См., например, у Сергеевича. Вече и князь. 74.
- 21 Буасье. Цицерон. 157, 170.
- 22 Фюстель де Куланж. Op. cit. 219.
- \*14 Отец, глава рода (лат.).
- 23 Фюстель де Куланж. Op. cit. 225-226.
- 24 Там же. 328-329.
- 25 Там же. 357-358.
- \*15 Герцоги, графы и представители династии более чем равны королям, они - их господа (фр.).
- \*16 Вы обладаете скорее номинальной, чем фактической властью (фр.).
- 26 Flach. Op. cit. 155.
- \*17 Сверхъестественную или мистическую власть (фр.).
- 27 Там же. 162-163.
- 28 Герье. Республика или монархия. 7.
- \*18 Посланцы Господа, наместники (лат.).
- 29 Flach. Op. cit. 286.
- 30 Тэн. Наполеон. 99.
- 31 Герье. Август. IV, 16-17.
- 32 Фюстель де Куланж. Op. cit. 232.
- 33 Сергеевич. Вече и князь. 1, 12, 21, 50 и др.; Костомаров. Русская история. 35, 36 и др.
- 34 Фюстель де Куланж. Op. cit. 331-332.
- 35 Там же. 329-330.
- 36 Бестужев-Рюмин. Русская история. 1.
- 37 Светоний. 12 Цезарей. Калигула, 5.
- 38 Сенека. De vita beata. 36.
- 39 Фюстель де Куланж. Op. cit. 137.
- 40 Карсавин. Основы средневековой религиозности. 168; Frazer. Le Rameau d'Or. V, par. 2, 108.
- 41 Поль Фукар. Les mystères d'Eleusis. 164.
- 42 Фюстель де Куланж. Op. cit. 232-233.
- 43 Ср. Буасье. Цицерон и его друзья. 169.
- 44 Герье. Август. 494.
- 45 Буасье. Падение язычества. 424.
- 46 Там же. 440.
- 47 Безобразов. Op. cit. 3-4.

- 48 Безобразов. Ор. cit. 4.  
49 Там же. 43.  
50 Шустер. Тайные общества. I, 200.  
\*19 Пощадите человеческую жизнь! (фр.)  
51 Женатый на католичке; см. у Забелина: "хотел... сделаться... рабом папства".  
История русской жизни. I, 443, 445.  
52 См. у Костомарова. Русская история. IX.  
53 См. у Беляева, "История Новгорода Великого", и Костомарова; например, в 1257 г. был убит посадник Михалко.  
\*20 Об опасностях ремесла (фр.).  
54 Светоний. 12 цезарей. II, 52.  
55 Буасье. Цицерон. 337.  
56 Плутарх. Жизнеописания.  
57 См. у Прескотта. История царствования Филиппа II.  
\*21 Государство - это я (фр.).  
58 Против такого верхоглядства возражает В. И. Герье (Республика или монархия.  
11).  
\*22 Король есть гражданин (лат.).  
59 Ср. часть I, гл. 4; часть IV, гл. 1, 4, 12, 16 и др.  
60 Книга VII, стихи 3 и сл.  
61 См. Frazer. Le Rameau d'Or. Гл. VI.  
62 La Cité antique. <С. 132>.  
63 Гимны Атону. См. "Первоисточники религии древнего Египта"; ср. Морэ. Цари и боги Египта. 49.  
64 Кн. I, гл. 20.  
65 Древняя гражданская община. 161, 160.  
66 Фюстель де Куланж. 164.  
\*23 Принят среди богов (лат.).  
67 Voissier. Religion Romaine. 1, 82, 115- 20, 134, 136, 139-143.  
\*24 Владыка и Господь наш (лат.).  
\*25 Сущий и телесный бог (лат.).  
68 Harnack. Lehrbuch der Dogmengeschichte. I, 103.  
69 Корелин. Падение античного миросозерцания. 24.  
70 De vita Caesarum. G. J. Caesar. 76.  
71 Светоний. Август. 52; ср. В. И. Герье. Август. 465.  
72 Voissier. Religion Romaine. I, 194-195.  
73 Там же. 127-149.  
74 Корелин. 49; Буасье. 126-128.  
75 Voissier. 163.  
76 Там же. 193, 197.  
77 Там же. 200.  
78 Там же. 127.  
79 Буасье. Падение язычества.  
80 Дюшэн. История древней Церкви.  
81 Безобразов. Очерки византийской культуры. 58-59.  
82 Безобразов. Очерки византийской культуры. 59-62.  
83 Там же. 59-60, 66.  
84 Там же. 30.  
85 Буасье. Падение язычества. 548.  
86 Там же. 32-33.  
87 Martin. Lehrbuch der kath. Moral. 790.  
88 Там же. 788.

- \*26 Они причастны богам и в некотором роде разделяют божественную независимость (фр.).  
89 "Politique tirée de l'Écrit. Sainte", - Boissier. Rel. Rom. I, 207.
- \*27 Один, от которого короли многих провинций ведут свое происхождение (лат.).  
90 Flach. Les origines de l'ancienne France. III, 246.  
91 Там же. 241-242, 253-256.  
\*28 Святой отец (лат.).  
\*29 Твоя святость (лат.).  
92 Там же.  
93 Там же. 144.  
\*30 Полагаю, что души правителей в руках Божьих (лат.).  
94 Герье. Республика или монархия. 12.  
95 Просветитель. Слово 16.  
96 Наказание князьям.  
97 Слово 13.  
98 *Rerum Moscovitarum commentarii*.  
99 Ключевский. Очерки и речи. 511.  
100 Ключевский. Очерки и речи. 366.  
101 *Pyrrhus*. 12.  
102 См. у Maury. *Croyances et légendes du Moyenâge*. 363.  
103 Flach. Les origines de l'ancienne France. III.  
104 См. у Коркунова и у др.  
\*31 Приговор, суд (лат.).  
\*32 Поединок по решению суда.  
105 Фюстель де Куланж. Древняя гражданская община. 239.  
106 См. об этом у Ранке, у Шерюэля, у Гальярдена, Клемана и других историков.  
107 См. у Шерюэля и Деппинга.  
108 См. Герои и героическое в истории.  
109 Политика. I.  
\*33 Князь, король, букв.: человек из властного рода (норв.).  
110 Герои и героическое в истории. Рус. пер. 37, 39, 278, 279, 280, 283.  
111 См. у В. И. Герье. Республика или монархия. 52.  
\*34 Чье царство, того и религия (лат.).  
112 См. у Vandal. *L'avènement de Bonaparte*. II, 462.  
113 С. Соловьев. VIII, 359.  
114 Свод Законов. 1904, том I, раздел 2, 141.  
115 Закон 1875 г., 16 июля, § 12.  
116 Закон 1787 г., 17 сентября, гл. II, § 6.  
117 Бразилия, ст. 43, гл. I раздела II.  
\*35 Умопостигаемая сущность императора (лат.).  
\*36 Уходи, чтобы я мог занять твое место (фр.).  
\*37 Все преданные мне (лат.).  
\*38 Уроженцы (фр.).  
\*39 Родом из (фр.).  
\*40 Естественность, природность (лат.).  
\*41 Верность королю или законному государю.  
118 Flach. *Op. cit.* III, 59, 64.  
119 Соловьев. История России. VIII, 15.  
120 См. Сергеевич. Русские юридические древности. II, кн. 3 и 4.  
\*42 Слабоумие (лат.).  
121 См. гл. 15 и 16 моего исследования "О сущности правосознания".

122 См. О сущности правосознания.

\*43 Аристократов вешать (фр.).

123 См. главу 3 ("О свободе") в моей книге "Путь духовного обновления", 71-99.

124 См. у С. М. Соловьева. История России с древнейших времен. Том VIII, 15.

125 См. Буасье. Падение язычества. Рус. пер. 403.

126 Там же.

127 История города Москвы. 619.

128 Карлейль. Герои и героическое в истории. Рус. пер. 218.

129 С. Ф. Платонов. Статьи. 231.

130 Mémorial de Sainte-Hélène. Paris, 1830, III, 155.

131 С. Ю. Витте. Воспоминания. I, 224.

132 См. Fragmente. Glauben und Liebe oder der König und die Königin.

133 "Бесы", часть вторая, глава восьмая: Иван-Царевич.

134 Интересно, что почти все эти критические укоры высказывает в своей книге "Власть и общественность на закате старой России" такой мудрый либерал, как В. А. Маклаков. "Наши вожди, ученые и публицисты знали только себя и свой круг; они легко были готовы принять к исполнению все научные выводы права, синтез научной теории, безотносительно к материалу, к которому придется их применять" (150)... "А недостаточное знакомство с заграничной жизнью и полная безответственность за суждения о ней склоняли русскую публицистику к наиболее смелым и теоретически последовательным взглядам и выводам" (150). "Один, но зато главный вопрос не был поставлен: в какой мере эти рецепты науки и опыта Запада были применимы к тогдашней русской действительности? Россия была не только политически отсталой, но невежественной, почти безграмотной страной" (151). "Даже для теоретических сторонников четыреххвостки, немедленный успех ее в России был невероятен" (152). "О том, что Монархия в России опирается не на одни только штыки, что ее поддерживает громадная часть населения, что Монархия тоже может говорить его именем, что России нужно было вовсе не уничтожение Монархии, а соглашение с ней, - об этом наши вожди и не думали" (153). Они хотели "не оздоравливать, а компрометировать, провоцировать и добивать самодержавие" (163).

135 См. Половцев. Дни затмения. 75.

\*44 Евгений Онегин. Гл. 8, строфа IX.

\*45 Ненависть, отвращение, позор, одиозность; здесь: неприятное бремя (лат.).

\*46 Позор тому, кто дурно об этом подумает (фр.).

136 В 1350 году король английский Эдуард III заметил на балу, что у его любовницы графини Солсбери упала с левой ноги синяя подвязка, он быстро поднял ее и при этом неосторожно зацепил и поднял у нее платье. Графиня, видя насмешки придворных, воскликнула: "да будет стыдно тому, кто подумал об этом что-нибудь дурное".

\*47 Я служу (нем.).

\*48 От лат. dissimulatio - сокрытие, - утаивать что-либо.

137 И. Е. Забелин. Минин и Пожарский. 125; Платонов. Смутное время. 135.

138 Забелин. Минин и Пожарский. См. на с. 301-302 автентический документ.

139 Платонов. Смутное время. 135.

140 Забелин. Минин и Пожарский. 85; Платонов. Смутное время. 135 и др.

141 Соловьев. Учебная книга русской истории. 176.

142 Свод Основных Государственных Законов. Том I, раздел I, статья I.

143 Древняя гражданская община. Русский перевод. 235.

144 Древняя гражданская община. Русский перевод. 323.

\*49 Свободное вето (лат.).

\*50 Всегда, ежедневно (др.-рус.).

\*51 В то время как цезарь стоит, мы славословим (лат.).

145 Тэн. 66.

146 См. также: завешание мексиканского царя Копотля, "Пусть божество в тебе будет" Марка Аврелия, у Юлиана Отступника, обращение Грозного к Стоглаву, письмо Сильвестра к Грозному, у Максима Грека, беседы Сергия и Гермогена, наставление к сыну Екатерины II, Герье о Людовике XIV.

147 Политика. I, 5, 5.

148 Там же. III, 2, 9.

149 Безобразов. Очерки византийской культуры. 2.

150 Безобразов. Очерки византийской культуры. 8-19.

151 С. Ф. Платонов. Статьи. 1912, 35.

\*52 Случайный, возможный при соответствующих условиях, при некоторых обстоятельствах (лат.).

152 Задыхаясь от удушья, Фридрих Великий не мог уже ни лежать, ни сидеть в кресле; Струцкий, стоя на одном колене, посадил умирающего императора на другое, держа его за спину и охваченный рукой Фридриха за шею, - и так держал его, облегчая ему муку, два часа подряд, пока король не умер (Карлейль. Friedrich. 526).

153 Просветитель. Слово Четвертое. {{От Ред.: Ссылка Ильина неверна. Цитата взята из Слова Седьмого (см. упомянутое издание "Просветителя", с. 178). Мы исправляем опечатку вместо еще (ц.-с.: если) печатаем нужное сице (ц.-с.: так).}}

154 Безобразов. Очерки. 15-18.

155 Политика. V, 9, 8-9.

156 La Cité antique. 260.

157 Политика. V, 8, 6.

158 Там же. V, 9, 2.

159 Там же. III, 9, 4.

160 Политика. V, 9, 3.

161 Буасье. Цицерон. 27, 157, 168, 171.

162 Безобразов. 4-7.

163 Ардашев. 35.

164 У графа А. К. Толстого - Дружина Морозов и Репнин, правдивый князь.

\*53 Толстой А. К. Поток-богатырь.

165 Венецианский посол при дворе французского короля Франциска I пишет: "Отныне королевская власть - все, даже в деле правосудия: никто не осмелился бы слушаться своей совести, если бы для этого пришлось послушаться своего государя" (Ардашев. 108).

166 См. Буасье. Падение язычества. 347-348.

167 См. Герье. Август. 464.

168 Буасье. Падение язычества. 90.

169 Лесков. Захудалый род. Ч. II, гл. 4.

\*54 "Ничто так не уродует некоторых придворных, как присутствие государя: их едва можно узнать, так искажены их черты и столь униженным стало поведение; хуже всех выглядят самые высокомерные - ведь они могут понести наибольший ущерб; тот же, кто честен и скромн, держится с большим достоинством, ему не нужно притворяться" (фр.).

170 Были льстецы, которые уверяли, например, императрицу Екатерину II, что она "премудрее самого Господа Бога", и Ключевский осуждает ее за то, что она не приказывала выталкивать таких министров (Ключевский. Очерки. 315).